

Литературный альманах

15

ДО И ПОСЛЕ



2011

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах



15' 2011

Руководитель проекта
ИОСИФ ВАРДИ

Редакционная коллегия:
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор),

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
КАРЛ АБРАГАМ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ.

Макет и оформление
ИОСИФ МАЛКИЭЛЬ

Альманах иллюстрирован работами
САРРЫ ШОР
(см. статью на стр. 168)

Произведения, представленные
на страницах альманаха,
публикуются впервые.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Права авторов сохранены.
При перепечатке, ссылка на
альманах обязательна

ISBN 6-889-42-09

Conrad Citydruck
Uhlandstrasse 147–
10719 Berlin-Wilmersdorf
Tel (030) 885 23 51
garduhn@conrad-citydruck. de

ОБ АЛЬМАНАХАХ «ДО И ПОСЛЕ»

В конце последнего века ушедшего тысячелетия, а проще – в 1996-м году собрались несколько человек – эмигрантов «четвёртой волны», занесённых в Берлин волею судеб. Эти люди не хотели бездейственно «доживать» в незнакомом мире. Многие из них были членами творческих союзов, привезли свои опубликованные произведения и рукописи. Объединённые общностью взглядов, любовью к русскому языку, искусству, культуре, они приняли решение издать в складчину литературный Альманах, назвав его «ДО и ПОСЛЕ», имея ввиду рубж эмиграции.

Альманах вышел в свет в 1997-м. Произведения четырнадцати авторов при довольно крупном шрифте заняли 132 страницы. Книга не имела номера, ибо не было уверенности в возможности продолжения издания. Но оно состоялось благодаря поддержке Центрального благотворительного фонда евреев Германии. Директор его берлинского отделения, г-н Иосиф Варди, помог в организации Клуба литературы и искусства и стал, по просьбе членов клуба, руководителем проекта по ежегодному изданию Альманаха. И вот перед Вами, уважаемый Читатель, уже пятнадцатый номер.

С годами Альманах «располнел». Его объём увеличился более, чем вдвое. Выросло число разделов. Публикуются работы как прежних, так и всё прибавляющихся новых авторов, в их числе и молодых. Нередко именно на страницах Альманаха видят начинающие свои первые публикации. Постоянно совершенствуется мастерство авторов, проявляясь в индивидуальном, легко узнаваемом творческом почерке. Следует сказать, что при всём тематическом, жанровом и стилевом многообразии отбираемых для альманахов произведений редакция старается не допускать в них отхода ни от нравственных, ни от эстетических (в угоду мнимому модернизму и дешёвому эпатажу) норм. Пройдя «школу» участия в Альманахе, многие авторы публикуются в изданиях других городов и стран, выпускают свои книги.

Название «До и после» постепенно обрело более ёмкое, чем первоначальное, связанное лишь с эмиграцией, значение. Оно охватывает

всё более широкий спектр значительных событий и имён как прошлого, так и настоящего. Неизбывная для большинства авторов еврейская тема органично присутствует в каждом из Альманахов. Выборка из этих страниц составила изданный в 2011-м сборник «Еврейские мотивы в произведениях современных берлинских авторов». Ужас Войны, навсегда вошедший в душу и тело тех, кто уцелел, режущее остро переживается здесь, в Германии. Дважды изданиями, в 2002-м и 2005-м, вышел сборник «Скрипач из гетто» со стихами еврейских поэтов, узников концлагерей и гетто, впервые переведенными на русский. Начиная с седьмого номера, еврейские мотивы появились и в иллюстрированных материалах о еврейских экслибрисах, о забытых или малоизвестных художниках, заметки о творчестве которых стали традиционными. Работы этих мастеров делают художественное оформление альманахов оригинальным и запоминающимся.

Во всех номерах, начиная с четвёртого, представлены переводы уже с семи (!) языков произведений многих поэтов и писателей, в их числе – лауреатов Нобелевской премии Виславы Шимборской, Чеслава Милоша, Понтера Грасса, Герты Мюллер. К слову, переводы её стихов даны в Альманахе 2002 года, а Премия присуждена в 2009-м.

Публицистика, критические статьи, эссе, мемуары на страницах Альманаха касаются самых разнообразных, часто непростых, тем истории и современности.

Кажется, ещё совсем недавно мы радовались появлению первой книги. Шестерых из зачинателей дела уже нет в живых, но их творчество продолжает жить для читателей.

В альманахах «До и после», содержащих суммарно почти три с половиной тысячи страниц, опубликованы работы ста двадцати авторов. Все произведения в совокупности уже пятнадцать лет вплетаются своеобразной прядью в живую ткань современной литературы русского зарубежья. Хотелось бы надеяться, что прядь эта не прервётся как можно дольше.

Редколлегия Альманаха



ДО И ПОСЛЕ поэзия и проза



Людмила А. Белоусова

Родилась в Москве. В Германии с 1993 г.

Публикации в сборниках «Сибирские огни» и «Жизнь прекрасна»; в газетах «Советская Россия», «Российский писатель»; в альманахах «До и после», «Третий этаж». Диплом «Советской России» за лучшую журналистскую работу 2009 г.

И ОБРУШИЛАСЬ СТЕНА

9 ноября 1989 года пала Берлинская Стена

утро следующего дня

Он ехал на желтом велосипеде по тихой, ухоженной улице. Она была всегда почти безлюдна, тем более, утром, в субботу. Бургеры отсыпаются в это время впрок. Аккуратные, двухэтажные дома, ничем не отличались от его дома, те же изгороди и нарядные газоны. Он подъехал к дому № 15 и нажал на звонок. Сумка на багажнике накренилась, едва не свалив велосипед. Снова нажал на звонок. Уже подольше. Никакого ответа. Тогда он прижал звонок и не отпускал его. Наконец, послышались шлепающие шаги.

– А-а, черт, – звук чего-то падающего, возможно, подставки для зонтиков.

Ральф, заспанно шурясь, открыл дверь.

– Ты, чего? В такую рань. Пяти ещё нет.

Франк посмотрел на приятеля. Утро для него кончилось.

Он стащил с багажника надоевшую сумку и сунул Ральфу в руки.

– Отнеси в полицию.

Перекинул ногу через велосипедную раму и, уже отъезжая, бросил, не поворачиваясь:

– Я застрелил Габриэлла.

– Чего? – поморщился Ральф.

Тихо, чтоб не разбудить соседей, крикнул вслед:

– Эй, Франк! Не понял...

Ответа не последовало.

Ральф махнул рукой и пошёл досыпать. Сумка мешала закрыть дверь. Он швырнул её на пол. Но, сделав уже шаг в сторону лестницы, наклонился и с любопытством сдвинул молнию

– О-с, – оглянулся и расстегнул молнию до конца.

– Дела, – восторженно протянул он и присел на корточки. Сумка была полна оружия.

Пистолеты Макарова, автоматы Калашникова, аккуратно вычищенные. Чувствовалось, что хозяин следил за своим арсеналом. Ральф взвесил на руке пистолет и прицелился в напольную вазу.

– Пух, – с удовольствием произнёс он и лихо прокрутил пистолет на пальце.

Потом вытащил «Калашникова» с укороченным стволом, перекрутил его в руке, полюбовался собой в зеркале: ствол с бедра, презрительный прищур глаз. Затем вынул из сумки другие сокровища.

– Ральф, – раздался шепот жены, – откуда это?

– Явилась, всё испортила, – поморщился он, Франк притащил. Отнеси, говорит, в... ой!

Ральф изменился в лице, до его сознания дошла фраза, сказанная Франком.

Жена смотрела недоуменно, явно ожидая продолжения.

– О-ой. Он сказал, ... что застрелил Габриэлю.

•Mein Gott!. Scheiße!• – выдохнули они одновременно.

...за два дня... до того дня...

Старые друзья хлопали друг друга по спинам:

– Ты совсем не изменился!

– Ха-ха, как тебе удалось такое брюхо вырастить?

– Хорошее пиво и прекрасный аппетит.

– Сколько ж мы не виделись?

– Года два, три?

Габриэлла слушала из кухни. Руди, друг Франка ещё со времён армии, настоящий друг, уверял Франк. Сейчас пустятся в воспоминания, прольют скупую ностальгическую слезу, поморщилась Габи, и начнут ругать новые порядки.

Она осветила лицо улыбкой и с подносом с тарелками, поспешила в комнату.

– Руди, разбойник, пропал, не засажайся!

Руди, сняв, ткнул Франка кулаком в плечо:

– Повезло тебе, старик: и жена золотая, и работа прекрасная.

– Работа, ни шатко, ни валко. А ты как?

Руди помрачнел:

– Понижен в звании, вернётся, разжалован. Народу присажает мало, общежитие закрыли, (он заведовал общежитием для аусзидлеров в Дессау). Перекинули хаусмайстером в начальную школу. Лампочки ввинчиваю, чиню проводку, сантехнику. Работа! Это для кадрового офицера-то.

Он криво усмехнулся.

– Народ из Дессау разбегается. Все на Запад слут. Глядишь, и школу прикроют.

Габи сновала между кухней и комнатой, старалась не мешать. Ещё две-три рюмки, и начнется старая знакомая песня... надоело. Подожду немного и исчезну. Пойду на фитнес.

– Нет, ты послушай, – возмущался Франк, тыча в телевизор. И противным голосом копировал диктора:

– Под угрозой 500 рабочих мест. Они обеспокоены. Ха!

– А когда нас повымели на улицу, – вторил Руди, – нас, кадровых офицеров, десятки тысяч, они не беспокоились. Нет. Службу ни в военный стаж, ни в стаж государственной службы не засчитали. Словно мы эти годы на лавке валялись.

– Десяток летчиков оставили, пока они их летать учили, – Франк отхлебнул пиво, – потом – под зад коленом!

– А какой у нас полк был! Краса и гордость армии: Артиллерийский полк «Egwin Kramer». Элита.

Привычный припев, при ГДР был порядок...

Наконец, Габриэлла не выдержала:

– Прежде... Ведь сколько мути было. Смотри, всё теперь изменилось к лучшему...

– К лучшему, – взорвался Франк, – продали идеалы за миску чечевичной похлебки! Ничего святого не осталось. Не только у меня отняли будущее. Глянь, что делается: гомосексуалисты, лесбиянки, наркоманы. Преступность растёт. Где такое видано! Наша дочь живет с парнем, как... последняя... такое раньше было возможно?

– Ну, что ты, Габи, – дружелюбно встрял Руди, – какая мать? На что ты намскаешь? На Штази? А у кого её нет? Было, есть и будет! Была мать, только с грязной водой выплеснули целую армию. И детские лагеря, и бесплатный спорт.

Франк повысил голос, перебив приятеля:

– Мы чттили семью, родителей, Родину. Мораль. Что они предложили взамен? Безработицу и экономический кризис.

Габи махнула рукой и ушла на кухню. Завелись, теперь не уймутся...

Выходила замуж за красавца-лейтенанта, перед которым открывалась блистательная карьера. А обернулось...

Он был честным, идейным, исполнительным. Возможно, не хватало инициативы, воображения, он никогда бы не дослужился до генерала, но уж погоны подполковника получил бы обязательно. Но наступило Воссоединение, рухнула Стена, армию распустили, офицеров уволили. Без трудоустройства. Она прислушалась: из комнаты раздавались перекаты смеха, друзья дошли до кондиции, без жалоб на жизнь ударились в воспоминания.

Габи чмокнула мужа в щеку:

– Ну, не буду вам мешать, сбегая на фитнес.

Франк благодушно ухмыльнулся, шлепнул её по попе:

– Иди, иди, попотей.

Габи проехала мимо фитнесклуба, свернула на параллельную улицу. Вскоре была уже у Дитера. Они познакомилась на спорте. Крутили колеса на соседних велотренажерах, сидели рядом, едва прикрытые полотенцами, в сауне, пили чай в баре. Потом гуляли вдоль реки, любовались отражением огней в темной воде. Когда же гуляла она вечером по набережной? И гуляла ли вообще?

После долгой размеренной супружеской жизни, Габи снова почувствовала себя юной, красивой, желанной.

Встречи и прогулки переросли в нечто большее. И Габриэлла поняла, что она, сорокасемилетняя замужняя дама, мать двух взрослых детей, влюбилась, как девчонка.

Он внес свет в её жизнь. Яркие краски сменили серую будничность. Она не пыталась бороться с новой любовью. Тихо радовалась, наслаждаясь вдруг вернувшейся молодостью. Дитер любил её. Пусть он не шептал ей в ухо горячие слова, не пел серенады под окном. Но каждым жестом, каждым словом, проявлял свою любовь. Габи восхищалась им. Они стали так близки. Никогда раньше не встречался ей человек, с которым можно интересно поговорить обо всём...

Всё, что делал Дитер, было красиво. Вот он разлил красное вино в большие бокалы. Знал, какие бокалы для белого, какие – для красного, какие стаканы для виски, какие для martin. А Франк пьет пиво прямо из бутылки, из горла.

Габи удивлялась: одинокий мужчина, а сумел так изящно обустроить жизнь – домик небольшой, но прекрасно оборудованный. Камин, красивая мебель.

С бокалами вина в руке Дитер сел на диван рядом с Габи.

– Неплохое вино, – заметил он, протягивая ей бокал.

– Мне надоели детские игры, – начал он, – мы прячемся от людей,

ты вздрагиваешь, оглядываешься. Поужинать в ресторане едим в соседний город... Ты следишь за часами, срываешься с места.

Откровенный ужас, мелькнувший в её глазах, заставил его улыбнуться.

– Переёзжай ко мне. Попробуем жить вместе.

– Ах, – от облегчения у неё даже слезы выступили на глазах, – а я уж думала...

– О чём, глупышка? Надо решаться. Разбежаться мы всегда сумеем.

Габриэлла заворожено смотрела в бокал, словно там, в пурпурной глубине, спрятался верный ответ.

Конечно, надо решаться. Но они прожили с Франком почти двадцать пять лет, вырастили детей. Надо решаться. Ей сорок семь лет, она может прожить ещё двадцать, тридцать, тридцать пять.

Тридцать пять лет серой жизни. А сколько лет молодости осталось? Сколько, чтоб радоваться жизни?

Она сделала длинный глоток.

– Да, лучше сожалеть о сделанных ошибках, чем об упущенных возможностях.

Дитер поднял брови:

– Ого! Сильно сказано, это ты придумала? Или прочла?

– Не помню, но соответствует моему состоянию. Как я ему скажу... Не представляю...

– Не надо говорить, оставь письмо. Лучше избежать сцен и упреков.

– Я не думаю, что будут сцены – ему давным-давно всё безразлично.

– Давай красиво начнем нашу новую жизнь. У него, как раз, подошел отпуск, вдвоём дешевле – не надо доплачивать за одноместный номер. Естественно, подразумевалось, что дама платит за себя. Устроим себе сказочный отпуск на волшебном острове. Где хочешь? Куба? Таиланд? Бали? Шри Ланка?

Только человек с тонкой душой мог придумать, как жизнь сделать сказкой. А у них с Франком даже свадебного путешествия не было, не то что Таиланда.

Она забыла, что для жителей ГДР не было ни Бали, ни Таиландов. Сказки ограничивались братской Болгарией или Сочи.

– Уедем в отпуск. Франк за две недели свыкнется, примирится. И все дела.

Габриэлла просияла и счастливо вздохнула.

– Слушай, как же так, тебе сорок девять лет и ты никогда не был женат? И детей нет?

– Не-с-а

– Почему?

Он посмотрел на неё серьёзно и пригубил вино...

А на фига, голубушка, мне такой хомут? Баб свободных – в изобилии, выбирай любую. Сошлись – разошлись. Без обязательств. Дети! Маленькие, они не дают покоя, связывают по рукам и ногам. Вырастут – ещё больше пакостей. Свобода и, главное, никаких обязательств.

Он достаточно посздил, сменил не одну работу, не один город. Стал уставать. Ощутил потребность в постоянной заботе. Да и язва стала часто напоминать о себе, требовала диеты.

Мягкая, нстребовательная Габи, подходила на роль долговременной подруги. Он нежно коснулся её лица:

– Тебя ждал.

– Решено, я переёзжаю.

...накануне...того дня

Франк стоял у окна своего кабинета. Менеджер по сервису, так называлась его должность. Да-да, ему ещё повезло, другим было многим хуже.

Кабинет, компьютер, куда стекались многочисленные заявки. Под его началом маленькая армия – электрики, монтеры, маляры, строители. Он вкладывал в работу привычную военную дисциплину.

Городская больница, конгломерат зданий, чем-то отдаленно напоминала воинскую часть. Так ему казалось: территория обнесена забором, и за ним – идеальный порядок. Он любил закрытый мир воинской части: чистая территория, аккуратные солдаты и офицеры. Он любил азнотаж учебных маневров, подъёмы по тревоге. Это был его мир. Жизнь за оградой военной части казался ему правильной. Расхлябанная, длинноволосая молодежь, дикая музыка, студенческие волнения.

Сейчас он глядел из окна и видел не залитые светом, идеально вычищенные дорожки, а свою молодость. Франк с колыбели мечтал о военной карьере. В школе любимым предметом была Военная Наука, Wehrkunde.

Потом Военное училище, академия, присяга, торжественное присвоение лейтенантского звания... Развевающиеся знамёна, чеканный шаг офицеров. Глаза, горящие воодушевлением. Они верили в свои идеи, в своё предназначение!

Встреча с другом-однополчанином разбередила воспоминания, всколыхнула старые обиды. Последние недели, хоть уши затыкай, ОНИ без конца воспевали Воссоединение, Падение Стены. Ликовали. Родились уничтожению целой страны. Его страны. У него руки тряслись от ненависти, подсказывало давление. Мерзавцы. Предатели. Тьфу!

Он бесконечно вспоминал и представлял, что было бы, ...если бы не случилось этого проклятого Воссоединения, ...если бы Советский Союз воспрепятствовал, ... было всё по-прежнему, ...Если бы...

И бессильная горечь от разбитой жизни закипала в груди...

Иногда дома, когда все спали, он отпирали шкаф, где висела его одежда, и любовно проводил рукой по военной форме. Китель не сходил с груди, брюки не налезали на раздавленные бедра. Двадцать лет! Из офицера с будущим он стал хозяйственником без перспектив, тащит лямку нелюбимой работы. Аккуратность превратилась в педантичность, исполнительность – в неспособность проявлять инициативу.

Габи изменилась, неожиданно подумалось ему. Но в чём? Он не смог сформулировать. Возраст, наверно.

...тот день...

Она собирала вещи. Кровать, стулья, стол – всё было завалено одеждой.

– Габи, ты дома?

От голоса мужа Габриэлла вздрогнула и выронила платье.

– Что случилось? Ты вернулся? Почему ты не на дежурстве?

– Ключи от кабинета забыл.

Франк удивленно посмотрел на раскрытый чемодан. Потом на жену.

Она хотела сказать что-то незначительное, отговориться: разбираю летние вещи, навожу порядок. Но неожиданно, от растерянности произнесла:

– Я собираю свои вещи. Я ухожу от тебя.

И ей сразу стало легче, упал камень с души. Правильно, не надо врать, замалчивать. Он не понял.

– Что-что?

– Я ухожу от тебя, возьму самое необходимое...

Он слышал её слова, но смысл не доходил до сознания. Шутка? Или он ослышался?

– Что? Что ты сказала?

Она тяжело вздохнула и снова повторила:

– Я ухожу от тебя.

Он подошёл к ней с наигранным спокойствием. Даже слегка улыбаясь.

– Подумай, что ты говоришь, мы прожили всю жизнь...

Она посмотрела на мужа, как на тупого школьника.

– Всю жизнь? Абсурд! Моя жизнь ещё не кончена, у меня всё впереди.

Он попытался развернуть её к себе лицом.

– Габи...

Он хотел ей напомнить: вспомни нашу молодость, любовь, танцы в Доме Офицеров, радости и горести, которые мы вместе пережили, рождение детей. Но сумел выдать только:

– Габи, Габи, опомнись!

– Не смей меня хватать, – она резко выдернула руку.

– Что ты несёшь? Приди в себя...

– Я всё решила. Много раз я пыталась тебя ... сдвинуть с места. Надосло!

– Хорошо, хорошо. – Он, кажется, поверил, что она говорит серьёзно. – Давай спокойно поговорим.

Она, не глядя на мужа, покачала головой. Не о чем говорить.

– Ну, давай съездим в отпуск, ходим в ресторан...

Она истерически засмеялась.

– Ресторан! Отпуск! Поздно. Не в ресторанах дело. Даже не в том, что я устала от тебя.

Сказать ему, что она полюбила другого? Он не поверит, сам не может любить.

– Да я видеть тебя не могу, – взвизгнула она, – отойди от меня. – Я всё решила, я ухожу.

В нём медленно закипал гнев:

– Никуда ты не уйдёшь, не позволю.

– Ах, не позволишь?

– Не позволю, а рыпаться будешь, в психушку засажу, – прошипел он сквозь зубы, – рехнулась. Посидишь там – успокоишься. У меня свои люди в больнице.

– Ах, засадишь! Ты, убожество, неудачник...

Годами сдерживаемое недовольство выплеснулось в слова. Она захлебнулась мелкими злыми поправками, ехидными замечаниями. Голос срывался до визга, она никак не могла остановиться.

Он схватил её за плечи и тряс, как куклу:

– Перестать злобиться! Заткнись, наконец.

Она отталкивала его руками, била в грудь кулаками, царапала.

– Я соседей позову, полицию. – Она попыталась броситься к окну, он отбросил её в сторону кулаком.

– Никуда ты не уйдёшь, психопатка, посидишь, разум вернётся.

– Отпусти меня, негодяй, – визжала она, пыталась зацепиться рукой за мебель, за ковёр, за перила лестницы, когда он грубо поволок её из комнаты.

Безнадежно! Он был намного сильнее, протащил её со второго этажа, через кухню, столкнул в подвал и захлопнул дверь.

– Посиди, охладись.

Она молотила кулаками в дверь

– Я тебя в тюрьму засажу, крестин, неудачник, недоумок.

Тяжело дыша, он кое-как сумел дойти до буфета и дрожащими руками налил стакан коньяку. Зубы постукивали о стекло, ни вкуса, ни крепости не почувствовал, выпил, как воду, одним глотком. Затылок разламывался. Давление, наверное.

Из груди, медленно затапливая сознание, поднималась тяжёлая волна черного отчаянья. Габи уходит. И она. И её отобрали. Ничего не осталось. Дети выросли, да они в нём и не нуждались. Не разговаривали. Отделялись короткими фразами. Ему ничего не осталось.

Они разрушили Стену. Под руинами погребли его жизнь. Отняли работу, призвание, Армию, которой он был предан, страну, которой присягал, идеи, в которые верил. Всё.

Я клянусь во все времена верно служить Германской Демократической Республике, моему Отечеству...

Отобрали Родину, которой он служил.

Я клянусь защищать социализм от любых врагов...

Социализм признали ошибкой и предали анафеме. Как и всё, чему он служил.

...если я преступлю эту торжественно данную клятву, пусть меня постигнет суровое наказание...

...постигнет суровое наказание...

И теперь у него отнимали жену. Последнее, что ему оставалось. Якорь.

– ...суровое наказание, – шептал он, смаргивая, чтобы прогнать пелену перед глазами, – суровое наказание.

Да, наказание.

Он вставил обойму в револьвер и направился к двери, ведущей в подвал. Нет, она никуда не уйдёт.

...на следующий день...вечер.

Дитер в который раз набрал номер Габриэллы.

«Абонент временно недоступен».

Надо было за ней засخать, помочь с чемоданами. Нет, лучше не мелькать зря. Неужели объясняется со своим солдафоном? Ладно, времени до самолёта достаточно, подожду.

Он откинулся на кровати и включил телевизор.

Разыскиваемый по подозрению в убийстве жены пятидесятидвухлетний Ф. мёртв. Выглядит, как самоубийство. Его труп обнаружен туристами на берегу озера в парке Вёрлитц. В ночь с пятницы на суб-

боту он предположительно застрелил свою жену. Причины убийства выясняются.

– Чёрт побери! Scheiße!

Камера показала знакомый дом. Дом Габриэллы. Её фото. Разлетающиеся волосы, весёлая улыбка. Лицо деликатно прикрыто чёрной полоской на глазах.

...застрелил свою жену...

Дитер вскочил, наткнулся на стоящий рядом чемодан и чертыхнулся.

– Чёрт побери, чёрт побери! Кто знает о нас? Кто знает – да никто не знает. Она всех боялась, пряталась. Всё равно могли видеть. Ах, чёрт побери, чёрт побери. Сообщат, позвонят. Собак навешают. Затаскают.

Он лихорадочно зашнуровывал кроссовки. Паспорт, билеты, путёвки, ключи от машины. Деньги за её билет наверняка не вернут, сволочи.

•Такси вызывать не буду. Поседу до Лейпцига на машине. Не больно здорово оставлять на две недели в чужом городе без присмотра. Да, плевать! Только бы сейчас никого не встретить, – лихорадочно проносилось у него в голове, когда он запихивал сумку в багажник и осторожно выруливал на дорогу.

•Вы можете отстегнуть ремень• – с улыбкой сообщила стюардесса и протянула ему поднос с обедом. Дитер с удовольствием откинулся в кресле. Через два ряда впереди сидела молодая женщина. Он пристально посмотрел на неё. Ага, почувствовала. Обернулась. Хорошенькая. Он с улыбкой поклонился. Она кокетливо улыбнулась в ответ, медленно отвернулась и подтолкнула локтем свою соседку. Дитер довольнo усмехнулся. Сказочный отпуск начался. Его ждал волшебный Таиланд.



Леонид Бердичевский

*Родился 24.11.1938 г. в Киеве. С 1993 г. в Берлине
Публикации в антологиях, журналах и альманахах раз-
ных стран. В альманахах «До и после» №№ 1-14 – стихи,
переводы, эссе. - Составитель и один из авторов берлин-
ских сборников «Скрипач из гетто» и «Еврейские мотивы».
Автор восьми книг. Стихи переведены на нем. язык.
Член ПЕН-клуба.*

МИСТИЧЕСКИЙ СОН

Настольный свет, тетрадь и слёзы сантиментов.
Ночную тишину прорезал грома бас.
И дождь рванул в окно непрошеным клиентом,
протеста моего нисколько не страшась.

Как будто требует он надо мной расправы.
Небесных сил ничем не удержи́ма прыть.
Мне предъявляет дождь улики, как отраву,
врывается в мозги и продолжает лить.

Но, слава Богу, сон уже не за горами.
Навесил на меня дождь множество грехов,
и, несмотря на то, что вечность между нами,
он явно хочет стать персоной для стихов.

Вот просыпаюсь я. Вновь слёзы сантиментов,
настольный свет, тетрадь, дождь пляшет на окне.
И память мне саднят забытые моменты, –
я твёрдо убеждён, что всё не снилось мне.

МИКРОЭЛЕГИЯ

А.П.

Осень. Мелкий дождь. Прохлада.
Тучи ниже. Полумрак.
Я согрет под тёплым взглядом,
остальное всё пустяк.

Осень кончится когда-то,
неба синь вернётся вновь.
Остаюсь под тёплым взглядом,
сколько осень не злословь.

ЭЛЕГИЯ

Марку Шейнбауму

Посмотри повнимательней,
добрый и преданный друг.
Серебристая ночь
тишиной и прохладой дышит.
Лунный свет развалился
вальжно на скамьях и крышах.
Стон деревьев прервался
и ветви ведут перестук.

Отодвинь занавеску, –
пусть свет проникает в окно,
он пройдёт по всем уголкам
твоей жизни и спальни.
Вникнет тщательно в быт,
интерьер изучив досконально,
остановит свой бег на стене,
где висит полотно.

Там портрет поясной,
где ты молод и полон надежд,
ноздри страстно раздуты
и губы в улыбке брезгливой,
лоб твой светел,
овал головы, убелённой красиво,

и в глазах беспокойных
играют задор и мятеж.

Много лет пронеслось,
стал портрет украшением стен...
Так взгляни из окна,
ночь прохладой спокойствия дышит,
жизнь спешит, словно лучшие
главы прочитанных книжек,
что берут нас по-прежнему
в свой восхитительный плен.

ПАРА КНИЖЕК

Марине и Толе

Никому, конечно, неизвестно,
после смерти что произойдёт.
Мир иной, возможно, просто бездна,
сгусток темени и вечный лёд.

Может, на досуге у потомков
чей-то полный любопытства глаз
их заставит заглянуть в котомку
памяти, чтоб вникнуть хоть бы раз.

И один другому тихо скажет:
«Чужаком был странный предок наш,
пару книжек сочинил он в раже,
и оставил нам он эту блажь.

Никаких процентов с капитала,
Видно, не имел он ни гроша.
Правда, в книжках, вроде бы, немало –
нараспашку вся его душа.

Я благодарю их и за это,
всё-таки заметили мой труд,
то, что прожил жизнь я поэтом...
Ну, хоть пара книжек не умрут.

МОЙ ДЕНЬ

Ворона каркнет:
«Фу, дрянь, дикарка!»
и снова тишь...
Раскроешь шторы:
«Ах, час который? -
Девятый лишь».

С чего бы это,
под взгляд рассвета,
начать возню?
Шагнуть с постели,
пока без цели,
навстречу дню.

Сжевать картофель
и с чашкой кофе
засесть за стол.
Включить компьютер,
он так премудр,
он мой глагол.

Затем курсором
затянуть ссору,
о том, о сём.
С сюжетом стычка?
Отжать водичку,
но что потом?

Да, текста мало,
начать сначала,
всю дребедень.
Вот, незадача,
над словом плачу.
И так весь день.

* * *

Что мне течение дня? Дождя тщедушный лепет,
всё то, что за окном, не трогает меня.

Жаль, годы из меня свою скульптуру лепят,
и за собой заманчиво манят.

Признаюсь: по ночам всегда я жду рассвета,
чтобы согреться смог я у его огня.

Зимою жду весну, весной, обычно, лета,
хоть знаю, что они не пощадят меня.

И целый божий день я жду ночного бденья,
чтоб за ночь разгадать, какая западня
мне уготовила ещё одно мгновенье,
что захлестнёт иль оживит меня.

* * *

Итожа взгляды, вздохи, мысли,
живёшь во власти аллегорий.

Ты заново листаешь числа
в календаре, давно безлистом,
всё утверждая априори.

Но слабо промелькнёт однажды,
дрожащей тенью, силуэтом,
казалось, случай маловажный,
как в фильме короткометражном
ничто не упустив при этом.

Нет, это не меняет дела,
не в этом суть, не в этом смысл.
Ты взглядом обжигала смело
дыхание, лицо и тело,
терроризировала мысль.

Пустяк: не следует итожить, –
измерив эпизод шагами,
но я признаюсь вам, – он всё же,
моментами морозит кожу
и сердце обжигает пламень.

ИРРЕАЛЬНОСТЬ

В амальгамном накале,
в глубине зазеркалья,
 расписалась печаль.
Текст её полукругом
явно тронут недугом,
 но гранён, как хрусталь.

Я труслив, я не смею
разглядеть этот веер,
 прочитать о себе.
От сомненья немею,
Может, став посмелее,
 раствориться в судьбе?

Силуэт в зазеркалье,
изворотлив, каналья, –
 кем сей послан гонец?
Полным ужаса взглядом,
понимаю, что рядом
 эта тень – мой близнец.

Рассыпаются стены,
и из них, как из пены,
 проявилась печаль.
И рыдая, лепечет,
гасит жёлтые свечи,
 ирреальность, а жаль.

ОКТАБРЬ УЖ...

«Октябрь уж наступил» –
всего строка Поэта,
но в ней заключена осенняя примета,
ведь за окном, всюю, кружится листопад.
Симфония ветров свистит, ворчит, ярится,
кусает, не щадя прохожих спины, лица,
сгибая ниже стать, на жизнь меняет взгляд.

«Октябрь уж наступил» –
поёт строка Поэта
и голову, увы, пора прикрыть беретом,
и горло защитить увесистым кашне,
да плащ надеть на стёганой подкладке,
вдыхая аромат осенний зябко-сладкий,
и мысли отгонять о лете и весне.

«Октябрь уж наступил» –
скрипит перо Поэта
и окунает нас в объятья желтоцвета.

БУКЕТ

Мы пригласили осень в дом
букетом из кленовых листьев.
И натюрмортом хлёсткой кисти
явится живопись на нём.

Он золотом украсил стол
в своей изысканной манере.
Теперь он главный в интерьере, –
он место здесь своё обрёл.

И сохранив надолго цвет,
порой, то грустен, то задорен.
Таит он массу аллегорий,
и в памяти оставит след.

Растают месяц или два,
свернутся листья и погаснут.
Они нас грели не напрасно,
осенней сказкой волшебства.

НАРОД КНИГИ

*Моему брату, автору монографии
«Народ книги» – с любовью.*

Неистребим и вечен мой народ,
и, несмотря на мудрые скрижали,
над ним глумились и уничтожали
с древнейших пор по настоящий год.

Он выдержал проклятья и обман, –
при том, что беспричинно, ошалело
приказ давал о пытках и расстрелах, –
властолюбивый временщик-тиран.

В чём только не винули мой народ,
Восток и Запад, –
им всегда был чужд он, –
считали: сжить народ со свету нужно.
Погромы развлекали чёрный сброд.

И всякий раз он возрождался вновь.
И при любой жестокой круговерти
жить оставался, ибо он бессмертен –
Бог влил в него особой группы кровь.

Народом Книги назван мой народ.
Он даже при немыслимых потерях,
не изменял своей отцовской вере,
и потому он выжил и живёт.

* * *

Закрывают глаза и наощупь,
(хоть зряч, слава Богу!)
иду через площадь,
ногами глотаю дорогу,
и эхо в конце там

меня призывает фальцетом:
«Иди без оглядки,
путь, правда, не гладкий».
Противиться мне бесполезно,
я знаю – там бездна,
пять вздохов к финалу.
Мне это судьба предсказала, –
циничная стерва...

Рассвет. Успокоились нервы.
О, сон мой: «Хитёр ты!»
Но вот, сновидения стёрты
и солнца улыба.
Глаза открываю. Спасибо!..

И вывод реальный.
Мне скажут: «Зачем так печально»...
Последняя в жизни дорога –
всегда безнадёга.

Из цикла «Берлинские этюды»

У ВИТРИНЫ

В ночном Берлине свет за счёт витрин, –
разумно, и к тому же, экономно.
Стоит бродяга, нищий и бездомный –
на Hermannstrasse он совсем один.

Он окунулся, словно в мир иной,
в котором всё напоминает праздник.
Глаз скачет в такт слюне по пище разной, –
по блюдам с изощрённою едой.

Вот, что бродяге подарил Берлин
ненадолго, чтоб успокоить голод.
Улыбчивее показался город, –
в тумане грёз, при роскоши витрин.

* * *

Сер и скучен рассвет,
и агонией сморщена осень.
Листопадовый бред
ветер свистом по улицам носит.

Полуночь-полутьма,
но закаты кроваво-багровы.
Всё застелит зима
белой тканью своих драпировок.

Даже лёгкий мороз, –
долгожданный подарок Берлину,
для прохожих – наркоз,
что толкает их к зимнему сплину.

Не грусти, проживём,
с Божьей помощью перезимуем.
Тёплым солнечным днём
мы ещё по зиме затоскуем

БАЛЛАДА О НОЧНОМ БЕРЛИНЕ

– Ночью Берлин вы хоть раз разглядели?
– Ночью мы нежимся в тёплой постели.

– Мне очень жаль, совершенно напрасно,
выглядит город ночами прекрасно.

Он под луной утопает в покое,
только во сне можно видеть такое.

Шпрее то долго молчит нарочито,
то ударяется в плиты гранита.

В ночь фонарей погасили бутоны,
лип и берёз успокоились кроны.

Кнайпы закрыты и парки в безлюдье,
и отдыхают заботы и судьбы.

Замерло всё, как на старой картине,
лунною ночью в уснувшем Берлине...

Примем мы лунную ночь за основу,
в месяц ноябрь, года тридцать восьмого.

Время дрожало, рыдая в Берлине,
в свастике город был, как в паутине.

Лунною ночью евреев громили,
немцев травили в нацистской бацилле.

В окна домов, в магазинов витрины,
камни швыряли под хохот звериный.

Женщины ль, дети ли и старики ли, –
всех, без разбору, молодчики били.

Не пощадили они синагогу, –
думали к Богу отрезать дорогу.

Не было в мире в то время жесточе
этой «Хрустальной» растерзанной ночи.

Михаил Верник

Родился 14.12.1951 года в Одессе. В Берлине с 1979 года. Публикации в альманахах и журналах США и Европы, в Берлине в альманахах «Третий этаж» и «До и после» №№7-14, участник берлинского сборника «Еврейские мотивы».



К 70-летию начала Великой Отечественной войны БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

О том, что началась война, Боря узнал от мамы. Её истеричный крик:

– Ой-ой-ой, и что с нами будет?! Боря, иди завтракать! – разбудил всё местечко.

Завтрак Боря досел, стоя в очереди на приём к начальнику призывного пункта. Вытирая крошки хлеба с толстых губ, он докладывал майору, что ему восемнадцать лет и что без него «наши» войну не выиграют. Усталый майор с усиками, как у самого отца всех народов, снял фуражку и долго смотрел на вспотевшего Борю Рабиновича. Потом сказал:

– Иди, сынок, домой, мы войну без тебя выиграем... Иди, тебя мамка ждёт.

Боря ломающимся голосом сказал, что пожалуется самому товарищу Сталину или, в худшем случае, дяде по маминой линии товарищу Кагановичу. Имя дяди Боря произнёс, занкаясь и оглядываясь по сторонам:

– Товарищ майор, вы знаете моего дядю Лазаря? Нет? Так вы ещё узнаете. Он лучший друг товарища Сталина. Вы понимаете, что нас ожидает?

Майор ещё раз посмотрел на Борю и сказал:

– Хорошо, иди на войну, но воюй так, чтобы дядя Лазарь тобой гордился.

Прощаясь с сыном, мама в этот раз не кричала и не плакала.

ДО И ПОСЛЕ поэзия и проза

Она прижала к своей груди единственное счастье, подаренное ей Богом, и произнесла:

– Твой папа, если бы он был живой, гордился бы тобой, а я тебе всё уже сказала.

Сначала Борю хотели отправить учиться маршировать и петь солдатские песни. Потом передумали и посадили в поезд с такими же добровольцами, и отправили на фронт.

Войне нужны жертвы. Без них война стала бы детской игрой, а так диктор сообщит по радио, сколько погибло солдат, и какими героями они были. И только тогда война станет настоящей войной.

Накрывшись шинелью, первый артиллерийский налёт Боря провёл на дне мелкого окопа. Боре повезло, о нём по радио не сообщили. И мама не кричала.

Когда Боря увидел медленно ползущие немецкие танки, он удивился, что не слышит рёва моторов. Он подумал, что танки игрушечные, и даже улыбнулся. Но когда старшина с силой разжал его пальцы и вложил в них гранату, он понял: вот тут пришёл тебе, Бориска, конец...

Старшина делал рукой странные движения, как будто кидает камни, и кричал Боре:

– Под гусеницы кидай, под гусеницы! И сразу ложись!..

Старшина исчез быстрее, чем приблизился немецкий танк. Боря внимательно рассматривал ствол железной машины, и ему показалось, что него смотрит человеческий глаз. Потом глаз моргнул, и над Бориной головой пролетела обжигающая смерть. Боря почувствовал, как по его ногам потекла горячая вода. «Вот этого мне не хватало», – подумал он и сел на дно окопа. С грохотом рядом с ними, раздавливая окоп, прополз немецкий танк. Боря встал и выглянул из окопа. Танк был совсем рядом.

Боря размахнулся, как показывал старшина, и бросил гранату.

Он видел, как граната, столкнувшись с башней, отскочила и упала на землю. Танку бы проехать мимо, и всё было бы хорошо, но он повернулся, наехал на гранату, – и раздался хлопок. Танк закружился на месте, теряя гусеницу, и остановился. Из люка торопливо выпрыгивали танкисты. «Немцы, настоящие немцы!» – удивился Боря и выстрелил в танкиста. Остановившись на бегу, немец повернулся к Боре и, широко раскинув руки, упал на землю. Потом стало тихо. Старшина долго обнимал Борю и говорил, что он герой и награда не заставит себя долго ждать.

Боре опять повезло, и по радио о нём не сообщили. Наградить Борю не успели. Оставшиеся в живых красноармейцы и командиры быстрым шагом отступали, боясь попасть в окружение, и было не до медалей.

Отступали долго. Но когда за спиной оказалась Москва, отступать стало нелегко.

Диктор по радио сообщал, что врагам столицу не отдадут, как бы тем этого не хотелось.

Боря стал умелым солдатом. Он научился не высовываться и не просился в разведку.

Ему исполнилось настоящие восемнадцать лет. Он стал сержантом.

Новый 1942 год немцы решили отметить в Москве.

Сталин дал приказ стоять насмерть. Не разбираясь, кто прав, а кто нет, смерть косила людей без сожаления. Москву отстояли.

Молодые, не обученные солдатскому делу, солдаты погибали за Родину. Матери получали похоронки, невесты надевали чёрные платья. Война набирала скорость.

Товарищ Сталин дал приказ перейти в наступление и испортить немцам Рождество. И приказ выполнили. Правда, от Бориной роты осталось почти ничего.

Уставший, немного контуженный, он писал маме письмо, где сообщал, как ему надоела война и как хочется маминной фаршированной рыбки. Боря просил маму не болеть и не волноваться за него. Он уже не маленький и курит. Потом отнёс письмо почтальону и направился обратно.

Летающих снарядов он не видел и не слышал. Они летели издалека и уже выдохлись, чтобы шуметь. Разорвался снаряд недалеко от Бори. Красн глазами он увидел летающие в его сторону куски замёрзшей земли и что-то странное, похожее на смерть.

Острым красн смерть вонзилась ему в руку, и она упала к его ногам.

Боря медленно опустился на землю. Встав на колени, он поднял оторванную руку и попытался поставить её на место. Но рука не держалась. Второго взрыва Боря не услышал.

Ранним утром громким голосом диктор сообщил, что немцы отброшены, и назвал фамилии героев, отличившихся в этой битве. Фамилии Бори в этом перечне не было.

В ночь на Рождество мама получила письмо. Ей сообщили, что её сын, сержант Боря Рабинович, пропал без вести.

Мама не плакала. Ведь без вести пропавший, это не погибший, а значит, Боря жив и вернётся...

ПУРИМ ПО-РУССКИ

(Пародия на рассказ Н.Танга «Ожидание Пурима»)

Как-то раз я сидел на улице в кафе и читал газету.

Ко мне подошёл немолодой мужчина и, глядя на мой остывший кофе, попросил закурить.

– Не курю! – ответил я.

Но незнакомец сел за мой столик и спросил:

– Извините, здесь не занято?

– Нет! – ответил я и сделал вид, что читаю газету, а сам стал незаметно разглядывать его.

– «Новый репатриант», – подумал я, и словно прочитав мои мысли, незнакомец подтвердил:

– Да, да, я новый репатриант, заметно? Вот гуляю по городу, знакомлюсь с местными евреями, и даже с арабами. Но они меня не понимают. Поэтому выбор у меня маленький. Только наши! Конечно, я такой еврей, как вы читаете, но мама, что бы она была здоровая, еврейка, вот мы и выехали в Израиль. Теперь мы настоящие израильтяне.

Конечно, мы не такие учёные, как пейсатые евреи, но и не такие дураки, как это думают Хабатники. Мы быстро учимся. Вот я уже знаю, что такое мицва. Я уже два раза нырял в ванну. Хорошoooo!!! Говорят, мицва очищает душу. И я, наверное, очистился.

Я посмотрел на новенького еврея:

– Ванна, – это миква. Мицва – это совсем другое дело.

Мой ответ не интересовал моего гостя, и он продолжал:

– Вы знаете, я в Израиле больше года и уже успел отметить много праздников, но самый хороший из них, – это Пурим. Смешные маски, костюмы, шум, это что-то необычное, но со мной случилось такое... Видите ли, я теперь не пью. Раньше было, а сейчас ни капли в рот. И тут зашёл ко мне сосед – хороший человек, местный еврей из Марокко. Подарки к Пуриму принёс и на «ломаном» русском языке объяснил, что надо есть ушн Амана. Жена возмутилась. Ну и что, что мы из Черновиц. Можно подумать Марокко больше Черновиц. А тут Анар, так зовут моего соседа, стал веселиться и рассказывать о том, что он прочитал в свитке историю евреев в Персии во времена правления царя Ахашвероса. И о его жене Вашти. О его плохом министре Амане, о еврейке по имени Эстер и её дяде Мордехеае. А потом добавил:

– В Пурим надо напиться так, чтобы не отличить Амана от Мордехая.

Эту фразу я запомнил и к вечеру, то есть к ужину, с бутылкой водки пришёл к Анару. Дети Анара, переодетые в каких-то чудищ, бегали с трешотками по квартире, издавая странный шум. Анар объяснил,

что шуметь надо только при слове «Аман». Этим мы показываем, что не боимся его. К ночи я понял всю историю, которую рассказал мой сосед. Допив мою бутылку и две бутылки соседа, я вполне серьёзно скинул Мордехаю, что думаю о царе Ахашверолне, его супруге Вашти и о всей ихней мишпухе. А вот нашей Эстер я горжусь. Её ум, красоту и находчивость украсила царская корона, и она спасла еврейский народ. И дядю сё Мордеха я тоже люблю и уважаю.

Тут я растрогался настолько, что попросил у Анара ещё немного водки. Подки не оказалось, и я согласился на коктейль, состоявший из пары бутылок виски, вина и бутылки шампанского, после чего мне показалось, что у моего соседа выросли треугольные уши Амана. Я закричал от страха и почему-то захотел перекреститься. К счастью вспомнил, что я в Израиле, но удивился, почему напротив сидит Аман, и мы пьём коктейль. От страха я закричал: Ама-а-а-и отпусти народ мой...

При слове «Аман» дети Анара стали крутить трещотки, а жена, сложив губы трубочкой, заулюлюкала...

Я встал и громко сказал:

– Нас голыми руками не возьмёшь, – и попытался укунить Амана за ухо. Мой сосед, спасая свои уши, вытолкал меня на улицу со словами, что все русские – пьяницы.

Я ответил, что я русский еврей и горжусь этим, и что нам ещё не известно, где он был, когда мы брали Берлин...

Услышав слово Берлин, Анар заговорил на родном мне языке:

– Та якый Бэрлин? Ты здурив, а кажышь шо яврей. Так може ты сам фрнц?

Так може, ты и есть Аман? А ну геть, геть звыдсиля!

От удивления я широко открыл глаза, пригляделся, но передо мной стоял безухий Аман и показывал кулак...

Потом моя жена говорила, что я всю ночь вскакивал с криками: «Аман!» и пытался укунить её за ухо. А наши дети трещали трещотками, поджаренными им в эти праздничные дни женой Анара.

К обеду я пришёл в себя и вспомнил, что не смог ночью отличить Мордехая от Амана и тем выполнил заповедь Б-га. А сосед перестал допрашивать со мной. Но это пройдёт. Он человек хороший...

Незнакомец поправил съехавшую на ухо кипу, приколотую к лысине серебристой заколкой:

– Вот, теперь хожу в ульпан, учу Тору. Всё хочу прочитать то изречение, где написано о том, что пьянство узаконено Б-гом. Но пока это место ещё не нашёл. А через пару дней снова долгожданный праздник Пурим. Я решил пойти к соседу. Я уже понимаю немного по-мароккински, а он по-русски.

Мужчина улыбнулся, встал и пошёл по направлению к синагоге.

А я подумал, что надо будет купить себе весёлую маску и не забыть передать гостинцы новым олим-хадашим, поселившимся вчера в нашем доме на третьем этаже.

ТРИВИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В нашем дворе бомжей не любят. И как только они появляются возле мусорных баков, сразу из окон раздаются крики:

– Вон отсюда! Развелось вас, как собак, работать идите!

Бомжи – люди терпеливые, им деваться некуда, вот они и молчат. Правда, когда уж очень сильно их достают, то мстят по-своему: раскидывают мусор, гадят, где попало, а в нелюбимый двор всегда приходят с такими же бездомными собаками, как они сами.

Светлана работала учительницей, и, несмотря на свои скромные сорок, выглядела хорошо, даже очень хорошо. Но жизнь у неё не сложилась. Это в математике всё складывается, говорила она, а в жизни законы серьёзнее, чем вычитание и сложение. Первой любви она поставила двойку, за опоздания, прогулы, обман и нежелание создать семью. Вторая любовь сама ушла от неё.

Работа в школе забирала у Светы не только здоровье, нервы, но и время. А любовь ждать не могла. Больше влюбиться Света не хотела. Возвращаясь домой с работы, Света быстро проходила мимо сидящих возле парадного соседок, а те как всегда громко вздыхали ей вслед: мол, хорошая женщина учительница, а вот жизнь не сложилась...

Теперь вы думаете, я расскажу вам, что свершилось чудо, Света встретила долгожданную любовь, и жизнь её закружилась, как в индийском кино?

Нет, ведь тогда всё, что я вам рассказываю, будет похоже на сказку, а взрослые в сказки не верят. Хотя, почему я в этом так уверен?

Как-то утром, вынося кулёк с мусором, Света столкнулась с мужчиной, который ковырялся в контейнере и всё, что было ненужно, бросал на асфальт. На сделанное замечание он пробормотал что-то невнятное, косо взглянул на Свету и продолжил работу. На следующее утро он опять стоял возле контейнера. Увидев его, Света остановилась. Она опаздывала в школу, а бомж не внушал ей доверия, но с мусорным кульком в школу идти было нельзя:

– Гражданин, отойдите, пожалуйста, в сторону, мне нужно подойти к контейнеру.

– Гражданка, я вам не мешаю. Но если хотите, я отойду...

Не сподя глаз с бомжа, Света быстро подошла к контейнеру, выбросила кулёк и направилась к автобусной остановке. Так продолжалось несколько дней. Увидев Свету, бомж делал несколько шагов в сторону, уступая ей дорогу. Потом бомж пропал.

Света умышленно выходила утром немного раньше, но бомжа не было. Не пришёл он и через месяц. Света стала о нём забывать.

Появился бомж зимой. Закутанный с ног до головы, он опять ковылялся в контейнере.

- Мужчина, вам что, делать нечего?

- Я голодный.

- У вас что, дома нет? А жена? Дети?

- Нет! Ничего у меня нет. И ничего мне не надо.

Что бы я сейчас ни писал и ни говорил, не вызовет у вас удивления или восторга. Тривиальная история, скажете, и конец этой истории банальный: они познакомятся, у них начнётся роман, он вернётся к нормальной жизни, и они проживут счастливо.

И самое интересное, вы будете правы. Они зажили хорошо. Строили планы. Он рассказывал ей, как работал лётчиком на Северном полюсе, как много зарабатывал и всегда мечтал о тёплом Чёрном море и верной подруге. Но потом заболел и остался без работы.

Она успокаивала его: «Всё наладится, всё будет хорошо».

Но однажды, придя домой, Света обнаружила пустую квартиру. Несколько ценных вещей пропало. Она опустилась на пол и завывала.

Вернулся бомж, когда похолодало и на улицах появился первый снег.

Он стоял на пороге и улыбался:

- Холодно мне, Света, и голодно. Пусто, а? Если можешь, извини. Я больше не буду.

Но Света его непустила. Он позвонил несколько раз, постучал в дверь и ушёл.

А Света опять заплакала.

Утром он ждал её возле мусорного контейнера:

- Света, плохо мне. Прости. Больной я, кашель и горло болит. Прости.

Света бросила ему под ноги ключи и ушла на работу. Вечером они вместе поужинали, и она постелила ему в гостиной. Перед самым новым годом она оставила дверь спальни открытой.

До самой весны жизнь казалось Свете сказкой. Но в начале мая бомж опять пропал. На этот раз Света не выла. Она просто проглотила полкоробочки снотворного и провалилась в сказку. Ей снился красивый цветной сон: море, солнце, бомж. Она видела себя в свадебном платье и много детей. Играл оркестр, но музыки она не слыша-

ла. Бомж что-то говорил, улыбался, а она убегала от него. Ей хотелось бежать и бежать, но кто-то крепко держал её. Она оглянулась: бомж и дети ухватились за её свадебное платье.

Она видела, как рвётся платье, удивленные от страха детские глаза и убегающего бомжа. Она рванулась вперёд и полетела к солнцу. Спасти Свету врачам не удалось.

Домой бомж вернулся зимой. На пороге квартиры стояла незнакомая женщина:

– Вы кто? Где Света? Я жил здесь.

Женщина рассказала ему всё, что знала. Потом пригласила войти и выпить чаю.

Он был галантен, и всё время рассказывал о своей работе. О том, как тяжело ему капитану – дальнего плаванья завести семью, и жить на одном месте. Вот, если бы он нашёл такую женщину, которая может любить и ждать, то тогда...

Пропал бомж весной. А осенью его нашли недалеко от кладбища, где лежала Света.

Бомжи скинулись деньгами и похоронили товарища. Кто-то говорил, что он каждый день ходил на могилку и плакал. Вроде, к жене ходил, - сказала бомжика Танька.

– Да, да – подтвердил Витёк, – точно к ней: плакал он и просил прощения, ведь жена она ему.

Говорили очень много и красиво, как в сказке. И умер бомж, как Ромео, только ему не хватило сил дойти до могилы его Джульетты каких-то девяносто пять шагов.

Тривиальная история, скажете вы, и конец её банальный, скажет кто-то.

А я отвечу:

Но, всё-таки, вот так у них сложилось, как жаль, что ничего не получилось....

МАЛЬЧИК МОТЛ

«Как дожить до субботы?» – такой вопрос задавали себе жители маленького местечка из повести Шолом-Алсйхема «Мальчик Мотл». Мальчик, которому ещё не минуло девяти лет, жил в старом доме со старшим братом, больным умирающим отцом, – кантором синагоги, и постоянно плакавшей матерью, подавленной вечной нуждой. Мотл часто бывал голоден, но по-детски радовался жизни и даже, когда его отец умер, говорил: «Мне хорошо, я сирота». Потом он уехал с матерью и братом в Америку, спасаясь от нищеты и погромов..

Другой мальчик Мотл, которого звали, как было принято позже в России и в Украине – Митя, Матвей, родился уже в следующем веке. Он жил с родителями, сёстрами, дедушкой и бабушкой в городе Киеве. Семья его ни в чём не нуждалась и ни о чём плохом не думала. Они были счастливы. Но наступило время и Мотл вместе со всеми евреями города прошёл свой скорбный путь, хоть и без креста на плечах, как согласно легенде, прошёл другой еврей, сын Марии и плотника из Назарета.

Мотл шёл в толпе евреев, не понимая, куда и зачем их собрали и гонят. На краю оврага он оказался между родителями и сёстрами. Рядом были дедушка и бабушка. Мотл видел, как плакала мать. Он слышал стрельбу, жуткие крики, вопли, плач, молитвы, стоны и проклятия.. Видел, как обливаясь кровью, падают люди, воздевая к небу руки. Как матери, прижимая детей к груди, пытались их спасти. Люди умирали со словами молитвы, застывающей на губах.

Мальчик Мотл падал в яму живым, увлекаемый ранеными и мёртвыми. Тяжесть лежавших на нём людей нарастала. Ему становилось всё труднее дышать. Наступила полная темнота. Смешанная с землёю кровь заливала его глаза, затекала в нос, уши и рот. Силы покидали его. Он не знал, что умирает. Сердечко ещё какое-то время продолжало биться, но вскоре, в изнеможении, остановилось. Мальчик Мотл умер, не дожив до ближайшей субботы.



НОРА ГАЙДУКОВА

Родилась в Ленинграде. В Берлине с 2003 года. Публикации в альманахах «Третий этаж», «Моабит» и «До и после» №№9 – 14. Автор книги стихов и переводов «Берлиноград». Участник сборника «Еврейские мотивы»

ЕЛЕНЕ ШВАРЦ

Здравствуйте, Елена!
Хоть Вас уже нет,
Для меня Вы в Питере
Всегда живёте.

Ваши окурки от сигарет
Всё ещё с балконов
Друзей в полёте.

Вы любили Тютчева
И Мандельштама.
Ненавидели верлибр
И метро в Нью-Йорке.

Вы повсюду сеяли
Поэзии свет
И плевали на всякие
Кривотолки.

Вы считали Питер
Пупом земли.
Как я в этом
Вас понимаю.

Вы бывали в Непале,
Были дерзкой и тонкой.
Вы родились на очень
Дальней звезде.
И швыряли торты
Об стену звонко.

Может, мы и встретимся,
Вы простите
За верлибр
И скромность
Моего таланта.

Шарик ещё вертится,
И в сети
Столько понаписано.
Проводам жарко.

ТИРГАРТЕН

Позеленевший конь и мальчик.
Устало дремлющий бизон.
Весны завистливый обманщик
Шлёт с поднебесья вам поклон.

Вы ждали, кажется, другого,
И растерявшись, впопыхах,
Твердили снова это слово,
То днём, а то уже впотьмах.

Оставьте ваши пререканья.
Весна прекрасней с каждым днём,
Что на страницах Мироздания
Горит негаснущим огнём.

Тиргартен сохранит столетья.
Из бронзы юноша и конь.
А на вопросы вам ответит
Устало дремлющий бизон.

СВЕТ

Мы были никем.
Мы боялись собственной тени.
Мы отрекались, писали
Невесть что в наших
Паспортах и анкетах...
Мы стояли на одной ноге.
Мы не верили никому
И даже самим себе.
Мы изменяли фамилии,
Имена и отчества.
Мы женились на русских,
Мы крестились, молились.
Просили прощенья,
Но прощенья нам
Не было и нет.
Потому что евреи –
Это Свет.

Свет, который слепит
Глаза остальных народов.
Проявляет в них самое
Худшее: злобу и зависть.
Но высвечивает и благородных,
Для которых, собственно,
И живут евреи,
Снова и снова открывая
Закрытые двери.

Пока голубой глобус вертится,
Говорят, всё быстрее,
На нём, среди прочих наций,
Были и будут евреи.
Хотят они сами этого или нет,
У них есть особая функция –
Дарить людям свет.

Марлен Глинкин

Родился 07.11.1932 г. в Киеве. В Берлине с 1992 года. Публиковался во многих журналах и альманахах разных стран. Участник альманаха «До и после» №№1-13. Автор четырех книг стихов и прозы. Участник берлинского сборника «Еврейские мотивы». Член союза писателей Москвы.



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

К 70-летию начала Великой Отечественной войны.

Была весна Победы, радости и горя...

1710 городов и 70 тысяч сел были сожжены и разрушены гитлеровскими фашистами. Были уничтожены 32 тысячи заводов, фабрик, электростанций. Шестьдесят лет прошло... Родились новые дети, новые города... Между этими годами огромное расстояние. Расстояние? От Бреста до Москвы – 600 километров. От Бреста до Берлина – 800 километров. Много это или мало? По сегодняшним меркам это мелочь... Поезд пройдет за 30 часов, самолету хватит и двух... А перебежками и по-пластунски – 4 года и почти 30 миллионов жизней!

30 миллионов – это 7,5 тысяч убитых на 1 километр пути, 15 человек на 2 метра земли. 14 тысяч убитых ежедневно, 10 человек в минуту... Это каждый 9-й житель бывшей советской страны!

Кто сегодня помнит об этом?! Помнят оставшиеся в живых ветераны-фронтовики. Они могут забыть день рождения внука, получения пенсии или еще что-нибудь очень важное, но никогда не забудут названия фронтов, дивизий, бесчисленных деревень и высоток, даты наступлений и отступлений, фамилии и имена однополчан... Они помнят лицо немецкого солдата и черный зрачок ствола его автомата, и

только во снах ноги у них делаются ватными, а душу сотрясает запоздавший на шестьдесят лет шоковый страх.

Они уходят. Один за другим. Вместе с ними уходят и никогда больше не оживут их сны, их беды, их счастье от возможности дышать и жить на Земле. Валентин Метелев на всю жизнь запомнил свой первый бой... Вражеский снаряд перебил гусеницу его танка и он замер на нейтральной полосе, в самом пекле боя. Лобовую броню снаряды не брали, но звон и грохот от их ударов стоял жуткий, в кровь секла лица и руки окалина, а они продолжали вести бой, пока новое попадание не заклонило башню. Только ночью их отбуксировали в тыл, где после перестроения его экипаж получил новую боевую машину. Построена она была на деньги какого-то народного артиста, в связи с чем на башне, белой краской, была надпись: «Артист». Спустя сутки, был новый бой...

– Эй, Артист, ты живой! – вырвался из рации чужой голос. – Ты не сгорел еще? Обещаю, что подожгу тебя непременно...

– Это он! Дракон! – крикнул механик-водитель. – Вот, сука, нашу волну отыскал.

Метелев схватил микрофон, щелкнул тумблером:

– Я-то живой, а ты откуда, гад, так русский знаешь?!

– Встретимся – расскажу, широка, мать твоя, страна родная, только не для тебя, говнюк... Ну что, выйдешь на своем «тракторе» против моей «пантеры»? Один на один, по-рыцарски?

– Хоть сейчас!

– Давай, сейчас, только напиши завещание... – голос умолк, и экипаж «тридцать четверки» на секунду замер, глядя на командира.

– Ну что парни, к бою!

«Тридцать четверка» вылетела из-за высоты на встречу с самоодвольным врагом.

Фашист был асом. Метелев это понял еще при второй встрече с ним.

Тогда «пантера» кружилась змеей под их снарядами. И командир не кричал на стрелка орудия, видя, что не он мажет – немец уваливает.

Ушел он тогда во второй раз. А в первый – чудом ушли они от смерти. Двумя снарядами прошла их танк «пантера». Именно та, он её узнал по чёрному «дракону», нарисованному на броне, и никогда не забудет.

И откуда она только взялась? Как не заметили её в горячке боя? Ас, немец, ас. Он и в бой входит во втором эшелоне, на готовенькое, когда видны и цели, и расстановка сил, поджигает наших и исчезает, прикрываемый своими, словно привидение. Метелев знал, что действия без приказа наказуемы, что даже победа может не спасти его от трибунала,

но что же другое мог он ответить немцу?! Он знал, что если проиграл, судить будет некого – на этот раз «пантера» его живым не отпустит.

Место соединения было чистое, безлесное, но неровное, балки, овраги. Где произойдет встреча? Этого не знал никто. Сотни глаз с обеих сторон линии фронта провожали машины, и многие недоумевали: на что, сходясь лоб в лоб, рассчитывает «тридцатьчетвёрка»? Ведь её лобовую броню пушка «пантеры» пробивает с километра, а оружие Т-34 опасно для немца метров с трёхсот. Пусть у него скорость в два раза больше, но что при атаке лоб в лоб от неё проку? Всё равно семьсот метров она будет беззащитна, целых семьсот метров! «Пантер» в то время у гитлеровцев были единицы, и в боях они участвовали эпизодически.

Танки мчались друг на друга... Словно видение, в воспламенённом мозгу Валентина, пронеслись воспоминания... Первая встреча с «тиграм». Вынырнуло их из балки десять против восьми замаскированных Т-34.

«Не стрелять! – прозвучало по радию. – Подпустить поближе». Подпустили, дали залп. Искрами брызнули снаряды по броне «тигров», но не пробили, не остановили их движение. И тут уж дали залп они. Снаряд попал в моторное отделение, вспыхнул огонь. Валентин попытался закрыть все люки, жалюзи, чтобы огонь задохнулся, но чуть не задохнулся сам. Экипаж выбрался и побежал полем, а Метелев на прощанье оглянулся – это был его второй танк. И он не увидел над своей машиной ни дымочка. Рванул назад. Все видели, как распахнул он башенный люк. Все видели, как ударило из него пламя и через секунду раздался взрыв кормовых топливных баков. Все видели, как подпрыгнула «тридцатьчетвёрка», как полетели в небо куски брони, и тело командира скрылось в дыму и пламени.

«Погиб на глазах экипажа» – такая строчка появилась в соответствующих похоронных документах. Похоронная команда подобрала останки – что от человека остаётся после такого взрыва! – шлемофон, ботинок... Похоронили всё это и на фанерную пирамиду с красной выдочкой повесили табличку «Капитан Метелев».

Мама получила похоронку, но продолжала верить в чудо... И чудо свершилось: пришло письмо от Валентина. Оно было без даты, а похоронка пришла с датой, и мать, перечитывая и обливаясь слезами, описала: «Сынок, получила я на тебя похоронку, да не знаю – почтой ли клясть или благодарить судьбу. Скажи: письмо твоё до смерти писано или после? А когда уж второе получила, руки не слушались, глаза не видели сыновних строчек: «...после, мама, пишу после смерти»...

Он мог бы много написать ей о своем чудесном спасении. О том, что между ним и взрывом оказалась башня, которая закрыла его от

осколков, что контузившая его взрывная волна отбросила далеко от огня, что, очнувшись ночью, он почувствовал, что вмёрз в землю и правая сторона тела не слушается; что наши войска отступили, и несколько ночей он догонял их, ковыляя на восток по пашням, лесам и пепелищам, отсиживаясь днём в подвалах, сараях, на чердаках... Его взяли «в плен» наши разведчики, приняв то ли за «языка», то ли за дезертира, и хотели пустить в расход за то, что молчал. А он не мог говорить – язык у него чудовищно распух и отказывался повиноваться. Появившийся капитан, оглядел «языка», его пропахшую соларкой телогрейку, его руки, лицо и бросил коротко: «В госпиталь!»

...От сильного удара танк вздрогнул и Метелев вернулся в действительность. Ствол «пантеры» блеснул пламенем: немец не хотел терять ни метра преимущества из тех семисот. Снаряд вонзился в землю совсем рядом.

Скорость – вот что сейчас было нужнее всего, и по ровной грунтовке он пролетел бы эти семисот за сорок секунд – да, да под восемьдесят километров в час ходила его «тридцатичетвёрка». Воистину летела, не ползла, но за эти секунды успел бы немец вцепиться в него три снаряда.

А здесь дороги не было, местность не ровная, камни – ревьёт мотор во всю мочь, а танк катится, где тридцать, а где двадцать. Как ни крути, меньше чем за полторы-две минуты эти семисот не пройдёшь – десяток, а то и полтора десятков снарядов выпустит немец за это время при такой скорострельности, как от них спрячешься? А вот он и вовсе встал – правильно, зачем ему спешить, да и целиться удобнее...

Так на что же рассчитывал Метелев, командир танка, пересаживаясь за рычаги и выводя машину на ту дуэль, которая больше походила на расстрел? На машину? Да. Но прежде всего на мастерство своё и экипажа. Главное было правильно угадать момент вражеского выстрела, рвануть за секунду до него рычаги, увильнуть, увидев, как в то самое место, где ты только что был, врезалась бронебойная болванка, и снова газануть вперёд – это он мог.

– Двенадцать секунд, командир! – крикнул после второго выстрела стрелок-радист. – Двенадцать! Перед танком оказалось метров двести ровного поля, и Валентин дал полный газ.

...Девять! Десять! Одиннадцать!! – заорал стрелок, и Метелев что есть силы рванул на себя оба бортовых фрикциона. Танк замер, а снаряд немца прямо перед ним вспорол землю.

Вперёд! Да. Сейчас они крутятся точно так, как крутилась в последнем бою под их пушкой эта вот «пантера», но она кружилась, убегая, а они наступают. Хватит ли у немца нервов не нажать на спуск, когда снаряд уже в казённом, а смерть неумолимо приближается? Хватит ли

моги сделать паузу, обмануть, подарить полсотни метров перед собой, чтобы забрать потом жизнь, когда Т-34 растёт в прицеле неестественно быстро – что за мотор у этого русского? Нет – снова двенадцать секунд, и тремит выстрел «пантеры». И снова Валентин уходит от смерти!

– Снаряд! – кричит он наконец долгожданное.

У кузне! – слышится в ответ.

Стрелок уже держит «пантеру» в прицеле, его пальцы занемели, кажется, что от одной ненависти его взгляда может расплавиться её броня! Но стрелять ещё рано, ещё немножечко рано... Метелев аж охнул, когда «пантера» дёрнулась и резко покатила задним ходом, не переставая нацупывать его пушкой. Охнул сначала радостно: «сдрейфил немец!», а потом охнул еще раз, когда увидел, что впереди овраг и его преимущество скорости и маневра здесь практически равно нулю; он понял, что достанет «пантеру» на выстрел перед немецкими позициями, которые совсем рядом. А там – батарея, да и в танк ещё попасть надо. Метелев не знал теперь, зачем он выжимает из двигателя все пятьсот пятьдесят лошадиных сил, зачем один летит на вражеский передний край, бьёт машину, швыряя её то в сторону от снаряда, то в камни, ямы – туда, где лежал кратчайший путь к уязвимающей «пантере». Сейчас, в такой ярости и ненависти, и он, и его ребята могли бы сражаться со всем враждебным миром.

...Или разучи немец не повернулся к «тридцатичетвёрке» уязвимым брентом, аккуратно катился задом. Но что он мог сделать, когда перед «пантерой» оказался крутой спуск и лишь на секунду, задрав в небо пушку, она показала днище? И этой секунды хватило для того, чтобы точно всенить в него бронебойный снаряд! В «тридцатьчетверке» орали и хохотали от восторга, словно дети, видя, что загорелась «пантера» факелом, что рвется в ней снаряды, что не открылся даже ни один люк. Их огрелый, пожалуй, только голос комбата по рации: – Дуэлянт! Наконец хренов! Под трибунал пойдёшь, понял?!

Валентин взялся за рычаги и, разворачивая машину, подумал о комбате с благодарностью: молодец, не под руку – понимает.

Но дойти до своих не пришлось – начался бой, а Метелев был к немцам ближе всех. В том бою он сжёг три «тигра», размесил с землёй несколько орудий с расчётами – вот и думай комбат: то ли судить, то ли награждать.

Его представили к званию Героя Советского Союза. Он стал асом, пройдя свои боевые университеты в самых страшных боях за Сталинград, Курскую дугу, битвах за Киев, Берлин. Он остался жив, выбираясь из горящих, взорванных, расстрелянных боевых машин!

Он потерял десятки своих экипажей – боевых товарищей и друзей.

Он почти дожил до великого праздника – 65-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

...И вот, тридцать стариков-героев стоят перед объективом телекамеры... Они готовы вступить в свой последний бой. В бой не с врагом, а с правительством России, которое в благодарность за великие ратные подвиги, решило отобрать у них последние заслуженные льготы, снести московский реабилитационный центр ветеранов Великой Отечественной войны, здания и земля которого понадобились новым «героям капиталистического труда». Кто победит в этой дуэли? Хватит ли сил у ветеранов, как у экипажа героической «тридцатичетвёрки», покажет время. Время, которое неумолимо приближает парад Победы на Красной площади 9 мая 2010 года!

ВЕРНИТЕ!

В юбилейные дни горестных событий в Освенциме мне довелось побывать в этом лагере смерти.

Главы многих государств, бесчисленные делегации и просто тысячи людей, включая выживших узников, посетили одно из самых страшных мест на земле. Траурные речи, слова покаяния, номинальные слова молитв и слёзы, слёзы...

Седой старик, окружённый детьми и внуками, склонившись над символической могилой, еле-еле шевеля потрескавшимися губами, молился о вечном... Подойдя ближе, я прислушался к его монологу:

«Мама! Из всех женщин на земле ты была самой прекрасной. Я знаю, что по пути в крематорий ты видела мое лицо. Мама, теперь нам, уцелевшим детям, немецкое государство предлагает деньги. Хотят возместить твою гибель деньгами. Но я, к сожалению, не знаю расценок. Сколько евро полагается получить за сожжённую мать? Не правда ли, мама, ты бы не стала брать деньги за своего сожжённого сына?

У моей сестры были длинные, золотые волосы. Ты, мама, любила вплетать в них цветные ленты. Глаза у моей сестры были голубые, как небо. Я очень любил её волосы. Их никогда не касались ножницы... Перед тем, как мою сестру сожгли в крематории Освенцима, ей, впервые в жизни, остригли волосы. Семнадцать лет росли её золотые кудри. Длинные золотые кудри. Семнадцать лет... Её волосы отправили в Германию в товарном вагоне, их упаковали в тюк, словно хлопок. Их везли на фабрику для производства одеял, подушек, мягкой мебели. Потом, в Германии какая-нибудь девушка укрывалась этим одеялом. Золотой волосок пробивался через ткань...

Сестра! Сейчас нам, старикам, предлагают деньги. Мне хотят деньгами оплатить твою гибель. Но я не знаю расценки. Сколько евро предлагается за золотые кудри моей сожжённой сестры? Глаза моей сестры были голубые, как небо. А мой отец?! Я узнал бы твою обувь, отец. Среди множества ботинок, туфель и сапог. Твои каблук никогда не кривились. Твоя поступь всегда была прямой...

На площади перед крематорием ежедневно росла новая гора обуви. Помнишь, отец, когда я был маленьким мальчиком, ты разрешал мне чистить твои сапоги. Я чистил сверху и снизу. Ты смеялся. У сапог, говорил ты, – есть и такая сторона, которой люди ступают по грязи. Когда станешь взрослым – поймешь.

Отец, теперь я совсем старый...

Солнце проливает свои лучи на гору обуви. Обувь!

Гора обуви!!

Распоротый детский ботиночек – детская кукольная головка с вырванными глазами, выглядывающая из горы обуви на сияние солнца. А рядом, на самом верху, – туфелька дамы, высокий, тонкий каблук... А рядом – запачканный известью рабочий сапог.

А рядом – деревянная человеческая нога в ботинке. Протез, залитый солнцем. Ботинки, туфельки, сапоги, босоножки... Горы обуви!

Отец, среди этой груды я всё равно узнал бы твои ботинки. Твои каблук никогда не кривились. Твоя поступь всегда была прямой.

Верните мне хотя бы один волосок из золотых кудрей моей сестры!

Верните хоть одно сломанное колесико из игрушек моего младшего братишки.

Верните хоть одну пылинку, которая падала на плечи моей матери!

Верните!!! И не нужны мне все ваши евро, доллары и фунты... Старик смахнул набежавшую слезу и, поддерживаемый внуками, медленно побрел к выходу из лагерных ворот.

ВОЗМЕЗДИЕ

Небольшое украинское село разбросало свои хаты по долине. Солнце, осветив местность, исполосовало её длинными утренними теньями. От каждой хаты тянулся к небу столб дыма – хозяйки уже давно растопили печи и стряпали.

И только в трёх хатах – в двух на окраине и в одной в самом центре села – не топили печи и не стряпали: три семьи – деда Нохмана, Левитинных и старухи Абрамович – стояли босиком на рыхлой земле вдоль неглубокой ямы.

– Давайте помолимся, – оказал дед Нохман.

Он молился громко и печально. В конце молитвы поблагодарил Бога за то, что сыновья и зятя не с ними сейчас, и просил уберечь их от всякой напасти, которая может случиться на фронте.

Затем добавил:

– А за то, что не пощадил детей малых – внуков наших – я тебе никогда не прощу!

– Зачем ты говоришь Ему это? – спросил Лейб Левитин, его сосед.

– Пусть знает!..

Дед Нохман посмотрел на свою пятилетнюю внучку Розу, безмятежно гладившую прижавшегося к ней котёнка.

– Хана, – сказал он своей дочери, матери Розы, – пусть живет котенок...

Хана поцеловала Розу и заплакала.

– Розочка, девочка моя ненаглядная, отпусти котёнка. Пусть он не много погуляет...

– А потом я его опять возьму? – недоверчиво спросила девочка.

– Возьмёшь... возьмёшь, доченька...

И тут автоматные очереди сломали их...

Испуганный котёнок метнулся в траву. Охрим – полицай с тропным ослиным лицом – дал по нему длинную очередь, но не попал.

Выругался: – Бля! Всё равно достану, жидовская тварь!

А они лежали вповалку – старики, женщины, дети... И мир не содрогнулся: так же пели птицы, серые столбы дыма из труб так же подпирали небо, и стадо коров, отмахиваясь от мух, лениво паслось у холма.

В одних домах ойкнули, услышав выстрелы, и помянули тех, кого только что не стало, в других – злорадно ухмылялись. А в трех хатах – двух на окраине и в одной в самом центре села – было тихо. Только ходики деловито отмеряли время, и некому было остановить их...

Вечером случилась гроза. Котёнок – рыжий, полосатый, как тигр, – напуганный молниями и раскатами грома, жалобно стонал возле хаты односельчанки, Пелаген.

Через день к ней навёдался Охрим. Вошел, не постучав. С грохотом положил на стол автомат и подозрительно осмотрелся.

– Ты жидовское отродье встречала?!

– Так вы ж юс, бедолашных, постреляли...

– Не о том я: Нохмановского кота разыскиваю.

– Котёнка, – поправила его Пелагея. – Его зять их, Арон, привёз для дочурки, для Розочки... Она так любила котёнка...

– Не тарахти!.. Кота, говорю, не видела? Увидишь кота этого – дай знать! А ещё лучше – поймай и ко мне!!

Когда стемнело, Пелагея зашла в сарай, достала спрятанного в ящик котёнка, и попоила его молоком. Затем снова спрятала в ящик, забрызгав сверху соломой.

На большой скорости по селу промчался танк и остановился возле хаты Пелагени. Открылся люк, из него вылез танкист и прыгнул на землю.

Ватюшки! – всплеснула руками Пелагея, узнав зятя Нохмана. Ну как Арон?!

Мои?.. – почти беззвучно спросил он.

Ой, Арон, Арон... Никого не осталось...

Охрим!!! – простонал Арон

Он привычно бросил тело в люк танка. Танк взревел и снова помчался по селу. Сняв плетень, он ворвался во двор Охрима. На крыльце сидела молодая женщина и кормила грудью ребенка.

Где Охрим?!

Подался с немцами, – ответила женщина.

Постояв немного, танк развернулся и помчался по улице, превращаясь в пыльный ком...

В одну из осенних ночей сорок пятого года в окошко хаты постучали. Время было тревожное, в округе действовало несколько банд. В каждой хате жила под каждой крышей, особенно по ночам.

Может муж или сын? – с надеждой подумала Пелагея. Она зажгла свечу и подошла к двери.

Кто там?!

Пелагея, – сказали за дверью. – Это ваш бывший сосед...

Она отодвинула засов и открыла дверь. Арон, тяжело опираясь на палку, переступил порог. Порывом ветра задуло свечу, и он, чиркнув зажигалкой, вновь зажёл её. Большой рыжий кот тёрся о его ноги.

Господи! – удивилась Пелагея. – Неужто признал? Сколько лет прошло...

Он гладил кота, а тот отзывался на ласки грудными хрипами, обоблакавшими верх блаженства.

Ничего себе котёнок, – сказал Арон.

А его так и зовут – Котёнок.

Господь принес с собой консервы и ещё кое-какие продукты. Пелагея поставила на стол бутылку самогонки.

Сидели долго и вспоминали довоенную жизнь. Она была счастливой, эта жизнь, потому что тогда все были живы и полны надежд. Слезы навернулись на глаза Арона, слезы катились по щекам Пелагени.

Господи, всё ли в мире творится по воле твоей?! – сказала в сердцах Пелагея, повернувшись к иконе.

Арон прожил несколько дней у Пелаген. Перед отъездом попросил отдать ему Котёнка. Пелагея не сразу согласилась... Навёдался он в последний раз к могиле, поклонился и ушёл – в одной руке палка, в другой – большой рыжий кот. да вещмешок за спиной.

Вспомнил я эту историю, потому что недавно был в Нью-Йорке, где мне на глаза попала заметка в газете «Нью-Йорк таймс»: 7 ноября, на рассвете, – прочел я, – убит владелец бара «Заповит» – Охрим Городниченко. На стене рядом с постелью убитого неизвестный оставил надпись на русском языке: «Собаке – собачья смерть! КОТЁНОК».

Евгений Денисов

Родился 23.01.1946 г. в Душанбе. В Берлине с 1990 года.
Публикации в журнале «Памир», в альманахах «Третий этаж», «До и после» №№ 9, 10, 12, 13.
Автор книги «Одиссея археолога-диссидента».



БАБА ЯГУШЕНЬКА

Баба Яга помолилась Богу
и, подкрепившись маленько грогом,
выбрав в комоде получше тогу,
взглядом себя окинула строго.
Села затем заниматься йогой –
грустно за шею закинув ногу...

Ты не грусти, Ягушенька, право,
и не гляди тайком на отравы.
Уж зеленеют буйные травы –
значит весна совсем на пороге.
Значит, пора собираться в дорогу –
в Гарца Олимп, на сияющий Брокен.

Будут там танцы, будет веселье,
будут подружки петь в хороводе –
– краше их нету в вашем народе.
Там упонтельны сладкие зелья,
плотн болотная дрожь и безумье
– высшее знание жизни бездумья.

* * *

Спасаясь так от боли и тоски,
ты над своим колдуешь манускриптом...
Пусть облака берлинские низки –
бессильны здесь и Сциллы и Харибды,
но небеса доступны и близки

* * *

Будет есть ветчину и бифштексы
задумчивый Авель,
Каин станет поститься и землю пахать.
Убиенных Саулом забудет ли Павел? –
на круги свои ветер вернётся опять

МОСТ АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЕГО

«Pont Alexandre III est merveilleux de beauté».
Мост Александра III удивителен по своей
красоте (из интернета).

Когда грустишь в изнеможение,
и вены стынут от волненья,
ты вспомни русский мост нетленный,
монументален он над Сеной,
над ветреной и лёгкой Сеной...
где жизнь идёт, как в мизансцене...

Предательств нет и нет страданий,
и возгласов с отборной бранью,
окутано всё лёгкой тканью.
Мгновенно заживают раны,
здесь звёзды дивной красоты,
и опьяняют всех цветы,

где невозможное – возможно,
меч навсегда упрятан в ножны,
и добродетель здесь надёжна.
Газель со львом лежат под пальмой, –
два друга, – чинно и реально.

Все композиции бесстрастны:
все женщины здесь куртуазны,
и обольстительно-прекрасны,
всё дышит подлинным искусством
на все лады, привычки, вкусы.

И богатырь былинный даже
не омрачит сознание наше, –
сидит с ожившею княжной,
доволен ею и собой.

Ну, словом, милая картина, –
идёшь мостом, дорогой длинной...
Париж от русского царя,
подарок получил не зря...



Эмилия Донская

*Родилась в Кишенёве. С 1978 года в Берлине.
Это первая публикация автора.*

ДО И ПОСЛЕ поэзия и проза

* * *

Опять «прости». Опять простить.
Всё снова сгладить и забыть?
И нашу жизнь начать сначала...
Но душу мне саднит беда, –
другим не станешь никогда,
мне это сердце подсказало.

К чему никчемные слова,
что шепчешь ты едва-едва, –
в них верить больше нету мочи.
Так мне назначила судьба,
она неласкова, груба
и пожалеть меня не хочет.

* * *

Жизнь человека, как юла.
её раскрутишь, запуская,
она весёлая, живая,
и, кажется, своё взяла.

Но постепенно, снизив ритм,
становятся вращения реже.
Она слабее воздух режет
и окончание вершит.

Лежит, вздыхает, но молчит,
ей дела нет до прежней жизни.
В её угасшем механизме,
исчерпан к жизни аппетит.

* * *

Кончалось лето. До рассвета
уж песня жаворонка спета...
Ночные грёзы об одном –
тебе – единственном и нежном,
чтоб ты любил меня, как прежде,
все сутки, даже перед сном.
Увы, но сердцу я перечу,
ведь стал ты груб и бессердечен,
быть может, тут моя вина?
Открыто признаюсь: слаба я,
здесь логика нужна иная, –
в тебя всегда я влюблена.

* * *

Быстро пролетело лето,
осень, и не размышляя,
шла, уверенно шагая,
широко, – по белу свету.

Листья гнал задира-ветер,
всех прохожих задевая.
Грустно... канитель такая
мне испортила весь вечер.

* * *

Мне часто в жизни не везло
и сердце ныло от тоски,
как одинокое весло,
у лодки, загнанной в пески.

Так я, отчаявшись, жила
на берегу реки пустынной,
всё спотыкалась, но брела
по жизни, бесконечно длинной.



Виктория Л. Жукова

Родилась в Москве. В Берлине с 2010 года. Публикации в разных альманахах и журналах России. Автор четырёх книг прозы.

ПРО РИВКУ

Лиловый сумрак растекался над рекой. Над оврагом стоял вязкий и влажный туман. Он скрывал всё убожество оврага; мёртвые деревья были не видны, сыто поблескивал только огромный валун Молчун. Маленькие безымянные валуны намечались лишь размытыми контурами. Туман потрескивал и пованивал. Пузырьки сероводорода, которые лопались на дне небольшого болотца, по слухам, обладали лечебными свойствами, как и черная, вязкая грязь, из которой они появлялись. Поэтому около Молчуна стояла грубо срубленная лавка, рассчитанная на несколько человек. Разговаривать не разрешалось, двигаться тоже. Так и сидели эти люди в темноте, обмазанные до пояса грязью, впитывая тепло остывающего от дневного зноя Молчуна. всё они приезжали из больших городов: из Ленинграда, из Москвы. Шёпотом передаваемый адрес, длительные сборы, тайна, которая окутывала их поездку, всё это не способствовало дружбе, да и полной openness между собой.

Было прохладно, регулярно кто-то, охая, поднимался, подходил к горячей черной луже и обмазывал себя жидкой теплой кашницей. Процедура эта длилась пятнадцать минут, тут кто-нибудь, близко всматриваясь в циферблат, говорил: «Хватит». всё вставали и шли к реке смывать грязь.

Местное начальство с этим, как оно называло, шаманством регулярно боролось. Вначале, перекрывая пенис соловьев, раздавался рёв мотоцикла. В деревенской тишине он был слышен

ли много километров. Минут через десять рёв раздавался над оврагом. Потом местный участковый милиционер, вторая по значимости позиция председателя колхоза фигура, кряхтя и ругаясь, предвзято каждый шаг долгим рассматриванием места, куда ступить, спускался в овраг. Когда, наконец, он добирался до скамьи, там, конечно, никого уже не было.

Борьба была неэффективной, но галочка в правлении регулярно появлялась. всё дело в том что, по слухам, сам участковый регулярно сжижал в обмазанном виде, после чего успешно женился, и уже бегал в соседнем посёлке его маленький пацанёнок.

Присажих принимала старая Авдотья. Когда её вызывали в соседнюю деревню в сельсовет и требовали отчёта, она заламывала руки и кричала, что это вместе с её мужем воевавшие, или от них прискавшие. Война закончилась всего ничего, и выглядело это правдиво.

Ризь делала чудеса, но не сама, а с помощью Ривки, невесть как затесавшейся в этот Богом забытый колхоз. Легенды про неё ходили удивительные. Спаслась в войну она чудом, спрыгнув с товарняка и перелетев в лесах. Там же в лесах было ей пришествие, и осенила её благодать, даром что нехристь. Дан был ей дар лечения, и ещё один дар, маленький, для души. Умела она летать. Но не ведьма она была, нет. Бабы на этом категорически настаивали. Она была фея, но такого понятия в деревне не существовало, а под жёсткое определение колдуньи Ривка никак не подходила. И колхоз этот выбрала Ривка по наитию, привлекли её сюда грязи, которые были тут исстари. Никто из местных никогда не задумывался над их сущностью, и всё обходили маленькое болотце стороной.

Иногда пастух приносил в деревню туманную весть, будто видел он на рассвете пролетающую Ривку, но бабы, как ни таращились в небо, ничего не замечали. Ривкины полеты происходили в основном перед приходом её пациентов, которые, не сговариваясь, прибывали группами из 3-5 человек. И Ривка, чувствуя, что будет последующую неделю занята, оттягивалась, кружа, как птица, над лесами и полями.

Ещё одна странность наблюдалась в этом колхозе. Замученные, истерзанные голодухой и войной бабы категорически не желали стареть. Конечно, каждая из них по совету Ривки посидела недельку у Молчуна. И начались в деревне необыкновенные превращения. Та же Авдотья, как глиная старуха, обрыдавшаяся над похоронкой мужа, вдруг потекла, как молодая телочка, морщины постепенно разгладились, глаза стали глубокими и яркими. В правлении поудивлялись, но по документам она оставалась той же Авдотьей, и вопрошающиеся унылись. Потом и другие бабы распрямились и помолодели, так что единственный без-

рукий инвалид из другой деревни, нанятый обществом пастух, забросил свою семью и плотненько поселился в Шергине, радуясь такой немислимой удаче. Домишки тоже как будто помолодели, куры занесли, а утки, прежде подыхавшие от какой-то неизвестной болезни, распушили перья и стали толстеть. Иногда они вставали на крыло, и в деревне делалось темно от летящей тяжёлой тучи. Ривка принесла неизвестные ранее в деревне семена, и огороды ломились от кабачков и баклажан, помидоры обламывали ветки, а огурчики засаливались бочками. Бабы вызнали у Ривки рецепты приготовления на зиму овощей, и заполняли погреба бочками и бочонками. Ещё Ривка научила готовить их рыбу-фиш, и бабы стали тягать из омуточков щук. Речка была неширокая, но очень бурная, вся в валунах, оставшихся, видно, от ледникового периода. Говорили, что в ней водилась даже форель.

И вот, в эту ожившую деревню потянулись Ривкины пациенты. Вечером подвода со станции, что была в 70 километрах от деревни, подвозила пациентов прямёхонько к дому Авдотьи. Дом, прежде богатый, поповский, стоял в некотором отдалении от остальных домов, на погосте. Авдотья была прислугой у вдовца-священника, дети его давно в деревне не появлялись, неясно было, живы они или сгорели в пожаре войны. И в этот дом она селила постояльцев. Люди всё попадались солидные, не свинячили, вещи не портили, водку не пили, не шумели. Авдотья даже решилась вытянуть из потайного чуланчика парадный кузнецовский сервиз на двенадцать персон, который подавала прежде только на Рождество и на Пасху. Денег Авдотье не давали, но привозили с собой большое количество еды. И сами питались, и Авдотья могла ещё месяц кормиться. Особенно много было красной и чёрной икры, диковинных консервов, сладостей, потом стали привозить ей мануфактуру, за особые услуги. Иногда её очень уговаривали заколотить дом и уехать в город, сулили богатую жизнь и спокойную старость. И никому из присяжных и в голову не могло придти, что истинный возраст Авдотьи и есть глубокая старость.

Авдотья была широкая натура. Зимой, когда присажали к ней соскучившиеся летние постояльцы, а бабы сидели по избам, и только дымок из трубы обозначал жизнь, Авдотья устраивала посиделки. Конечно не на хозяйской половине, и не из кузнецовского фарфора, а у себя во флигельке, на старых выщербленных тарелках, с самогоном и картошкой, которые всегда кто-то приносил, как приносили старый баян. И начинался пир, к картошке прилагались сегодня шпроты, завтра лосось, послезавтра белужий бок, а там и селёdochка в винном соусе. Тушёнка просто не сходила со стола.

Во главе стола сидела Ривка, заливчато опрокидывала одну рюм-

ку, всегда только одну, и начинала петь. Ей почтительно подыгрывал баянист, и бабы подхватывали припев, при этом никто не понимал ни слова, о чем поет Ривка, но из почтения не спрашивали, уважая чужую тайну. После начинался общий перепляс, и к вечеру, падая в сугробы, бабы расплзались. Весну встречали нынче не с сизыми от беспроясного голодного перепоя лицами и пустым курятником, как раньше, а достойно выпускали во двор нестронутых кур и индюшек, досадили икру из баклажан с кашами и макаронами и вытаскивали из погребов посевную картошку, что в прежние годы было просто немислимой роскошью. По весне кровь у сытых баб особенно играла, пастух был парасхват. И тут как-то всё внимательно посмотрели на Ривку и ахнули. Ривка-то оказалась необыкновенной красавицей, за те несколько лет, что прожила она в маленькой кривостенной избушке, Ривка похорошела необычайно, её, словно фарфоровое, личико сияло покоем и довольством, чёрные кудри, которые она прятала под миленькой шапочкой, теперь под ней не помещались и светились серебристым нимбом на солнце. Болезненная худоба исчезла, и когда топили баню, бабы щипали её за появившуюся попу и интересовались, для кого это она так цветет. По весне Ривка возобновляла полет, и обнаглевшие бабы выпытывали вечерами у неё, не открылся ли новый магазин на развилке, недалеко от станции, и не отправит ли она письмо на почте, которая была от них километрах в четырнадцать. Ривка только посмеивалась, что никак не утихомиривало жгучего бабьего интереса.

Начальство их не трогало, планы колхоз выполнял, с шаманством устали бороться и махнули на всё это рукой, а может, кто из пациентов отнес от них беду. Словом пятьдесят второй год был в их деревне благополучным. Радио у них давно сломалось, внешние бури их не волновали, и всё было бы замечательно, не попади к ним один странный пациент. В отличие от других, молчаливых и скрытных, этот тут же заинтересовался, прописывает ли Авдотья своих постояльцев или нет, вытащил свое удостоверение, из которого следовало, что он заготовитель ягод из ближайшего городка Боровичи. Зовут его Иван Петрович Иванов, и весь он открыт для дознания любого начальства, и ничего ему не стыдно и не страшно. После длительной беседы с Авдотьей, которой он поведал, что женщины давно его не интересуют, и не менее длинной аудиенции у Ривки, Иванов долго курил на краю огорога, что-то обдумывая. Просидев положенные пять дней у Молчуна, Иванов отбыл.

Через несколько дней в деревню прибыл участковый и, потупя глаза, сообщил Ривке, чтобы она немедленно уезжала, а то плохо при-

дётся. Взглянув внимательно на участкового, Ривка вдруг согласилась и начала собираться. К её избушке стали подтягиваться бабы. Ривка быстро распределила хозяйство: кому кур, кому собаку, отдала грача в корзине, найденного недавно в лесу, со всеми попрощалась и заторопилась в дорогу. Милиционер завёл свой мотоцикл, Ривка пристроилась сзади, и на большой скорости они выскочили из деревни. Но проехали всего ничего, у развилки навстречу выехала машина, которую каждый житель района хорошо знал. Это была райкомовская машина.

Опоздал, опоздал благодарный старлей, не удалось вывести ему Ривку с поля боя. Потом он выпутается, обернет всё случайным совпадением, но веры ему больше не будет, и скоро переведут его в другую, дальнюю и захудалую деревню. Но даже и в эту, забытую людьми и начальством, деревеньку, где самым обитаемым местом было кладбище, он привнесёт Шергинское благополучие и уже через год она начнет возрождаться.

Ривку же пересадили в машину, и почти под конвоем доставили на станцию, где ждал её не менее почетный эскорт. И тут произошел конфуз, о котором ещё долго судачили станционные бабы, прося дающие варёную картошку и семечки. Подошёл поезд, бабы кинулись к вагонам, и тут в группе людей, стоящей поодаль, центром которой была ослепительная красавица, возникла суета, раздались выстрелы, и военные с белыми перекошенными лицами кинулись врассыпную, стреляя в воздух. Поезд остановился, вагоны открыть не разрешили, баб разогнали, и ещё час военные бегали вдоль поезда, заглядывая во всё закоулки и стреляя в любую проходящую тень. Ухитрились они ранить станционного обходчика и прострелили канистру с керосином у местного механизатора. Дамочка исчезла. Поезд пришлось отпустить, но прочесали его весь, заглядывая в ящики с углем и протыкая мешки с почтой. Потом устроили засаду в домике Ривки и у Молчуна. Закончилось это тем, что один из карауливших, болевший давно уже туберкулёзом, почувствовал, что дыхание его выравнивается и кашель отпускает, а второй, с трофической язвой на ноге, на третий день, решив пересбинтовать ногу, язвы не обнаружил. Но не стали они никому рассказывать, решили сберечь это чудо для себя, и долго ещё приезжали тайком, привозя своих домочадцев.

Через несколько лет, круг лечившихся расширился настолько, что дома Авдотьи стало не хватать для постояльцев. Пришлось тех, кто победнее, селить в овин и на чердак. Авдотья стала брать за постой деньгами, часть из которых с поклоном отдавала в правление. А ещё через год про Ривку как-то забылось, и стали поговаривать, что не иначе

ним умерший священник творит эти чудеса. Начали ходить к нему на могилку, деревню постепенно наполнили бабки-кликуши, потянулись инвалиды, покалеченные войной, в деревне, в которой не знали что такое замок, пошло воровство. Болотце огородили, вырыли купальню, стали приезжать автобусы с паломниками из города, пошли слухи о канонизации покойного.

Местное церковное начальство, у которого были вполне приличные отношения с районной администрацией, решило поставить всё на широкую ногу; наполняли баночки и бутылочки и продавали целебную грязь в церковной лавке. Доходы пошли немалые, и однажды к Молчуну приехали военные и стали осматривать его со всех сторон. Потом вырыли огромную яму, подложили взрывчатку, раздался взрыв, от которого в доме у Авдотьи повывлетали стекла, и Молчуна не стало. На следующий день приехали строители, привезли машину дефицитного кирпича и, персжадав молебен, споро начали выкладывать стены. «Часовню строят», – разнеслось по деревне. Через месяц веселенькая часовенка ярко блестела маковкой из оврага, а через два выяснилось, что болотце высохло. Грязь растащили, появилась большая неряшливая глиняная яма, которая наполнилась по весне талой водой, и в ней завеслись лягушки. Правда, размер их превосходил всякое представление о подобных особях. Церковное начальство отслужило пару молебнов, ничего не помогло, и уже на другой год намного меньше стало паломников, только несколько бабок-кликуш ещё несколько лет преданно ждали чуда, никуда не выезжая из деревни, потом и они пропали.



Елена Зельгер

*Родилась в Санкт-Петербурге. В Германии с 1991 года.
Публикации в альманахе «До и после» №№11-14.*

ГРЯДУЩАЯ ПАМЯТЬ

*От всего человека вам остаётся часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.*

Иосиф Бродский

Грядущая память, поверь,
Не абсурд и боязнь.
И жизни, как лошади, в зубы заглянем,
Не спросим.
Поэт оставляет потомкам
Нежнейшую часть –
Часть речи,
А значит духовной часть плоти.

Нужнейшую часть –
Часть сердечного трения.
Важнейшую часть
Своего откровения.

От «кровь» и от «вены»,
В которых течёт эта кровь.
От тайны тайных,
Которой речёт эта кровь.
Воинственным громом
И молнией бьёт эта кровь.

Грядущую память
Потомкам даёт эта кровь.

Откровение,
Будто веянье волн,
Откровение,
Будто открытие,
Кров и кровь,
Будто рвение,
Ветра волнение,
Осязание вдохновения.

Откровение – веянье волн.
Откровение – тайной забвения.
Кровь и вены, и вдохновение,
Охватившее нас целиком.

ЗДРАВСТВУЙ, ПАРИЖ

Здравствуй, Париж!
Здравствуй!
Люмпенно-буржуазный.

Это река – Сена.
Сена обыкновенна.
Мелка, глубока – не знаю.
Медью блестит знамя –

Жанна д'Арк над Парижем.
Тише, прохожий, тише.
Слышите крик голубиный?
Жанна д'Арк над Парижем.

Ну же, выше, выше,
Ваше Величество, парус!
Мне осталась усталость,
И восхищенье осталось,
И наслажденье Парижем.

О, Оперá! Радует
Шиком, блеском, вкусом.
О, Оперá! Зимнего
Залы тусклы.

О, Трианон! Шёпот...
О, отравленье Парижем!
Ближе, ещё ближе,
Гóловы, гул, ропот.

О, кружева на манжетах!
О, кружева на фасадах!
Дуэли на пистолетах,
Сраженья на шпагах.

То ли толпа плачет,
То ли ликует. Напрочь –
Чик – и в зобу дыханье,
Чик – и уж бездыханна!

Здесь оголяли шею
И королевы, и швен.

Разный Париж, разный –
Гóлубо-бело-красный.

НА РАССТОЯНИИ

На расстоянии ценить
Тысячекратней и больней.
На расстоянии любить
Стоискренней и стосильней.
На расстоянии поднять
До небеси – роднящий флаг.
На расстоянии понять,
Язык тоски – сплоченья знак.
На расстоянии расти
Побегом стойким сквозь гранит.
На расстоянии простить

То, что непонято вблизи.
Не расставание,
Разлуки суть – двойной припой!
На расстоянии
Стальным канатом – голос твой!

НАКЛОН УСТ

«У меня к тебе наклон уст..»

Марина Цветаева

У меня к тебе наклон уст,
Лба и тела, и моих чувств.
У меня к тебе земной наклон,
И корнями, и дыханьем крон.
И пока любить не разучусь,
У меня к тебе наклон уст!

ПОЗВОЛЬТЕ

Позвольте до звона
Заутреней вслушаться в небо
И нёбо прижать языком!

Позвольте сегодня
Не слушаться посвиста гнева
И вольно бежать босиком!

Позвольте,
Меня не невольте,
Тоскует стреножено прыть!
Мне больно.
Довольно.
Позвольте мне быть!

СЕНЬ НАД СЕНОЙ

Улицы – стрелы
Улицы – лица

Лики – камни
Навек останусь!

О, сень над Сеной
Акцент парижский
Не говорят здесь
По-английски
И ничего здесь
Нет по-русски
Разве что
Музыки нзыски
Разве что
«Водка» по-французски

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

*«Я уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.»*
Марина Цветаева

Или это тихая усталость –
Чья-то обнимающая тень?
Исчезающего снега малость
И зима по-птичьи в руку вжалась,
Дышит, напевая новый день.

Ожидаю солнечного ветра,
Пазреваю соками весны
И уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.

И уже переполняюсь светом,
И уже забыла холода.
Ветреная, словно ветер летом,
Очарованная навсегда.

Или это зимняя усталость,
Или сущность женская моя?
Я с зимой поспешно распрощалась.
Лето, где ты? Я уже твоя.

Константин Кербель

Родился 03. 01.1948 года в гор. Конейске (Челябинская область). В Германии с 2004 г. Публикация в Альманахе «До и после» №11.



АЛТАЙСКИЙ УЖАС

Эту историю лет десять назад нам рассказал наш учитель. Наршим, особенно подросткам, всегда нехватает доброго и надежного старшего друга. Таким для нас был этот интересный, загадочный человек. Общался с нами, как с ровней, не заносился, не лгал. Жизнь его была непростой, пришлось поколесить по стране. От Таймыра до Кушки, от Урала до Сахалина, – в этом был его собственный учебный материал. Старатель, охотник, геолог и, конечно же, замечательный учитель. Ещё когда был молодым, ходил с геологами. И об этом его рассказ.

Четвёртый полевой сезон. Истоки реки Чульчимаан. Необычная река, берёт исток из озера и устье её опять таки в озере. Необследованный район Алтая. Вторые сутки пробираемся к правому притоку. Шапшаотский хребет – трёхтысячник. Красота божественная. Здесь бы с мольбертом поработать. Быстрой, мягкой кистью бросить на холст гамму цитовых нюансов. Гористая даль в синеватой мгле. Гряды облаков замерли над вершинами, словно ухмыляются искрами снега. Они спокойны и их тёплый светящийся колорит разлит нежной умиротворённостью...

Но, увы, надо бить шурфы. Для меня – десять штук за десять дней. Инструменты: лопата, лом, кирка. Через каждые полметра – проба-керн. Дядя Миша ставит отметки, он в звене старший геофизик. Юрка со Славкой – геологи-алхимики, без фанатизма готовят бур, – эдакая кулибинская модернизация

ДО И ПОСЛЕ войны и после

на основе бензоцилы. Генка и я – работаем, тащим канистры с бензином и штыри. Кроме всего прочего: поесть, поспать, гитара, аптечка...

Карабин у меня, – узнали, что я промышляю пушинной. Усталость уже с утра, мышцы, как каменные. Старшой вспомнил о каком-то дедке, который живёт неподалёку. Направились к нему. Выходной!

Дед Яков принял нас хорошо, визиты к нему не частые, радовался всякому. Захлопотал, накрыл на стол, да и мы припасами поделились. После трапезы пошли настраивать баньку. Веники из ливневиницы и дуба, ну, прямо, царская услуга. После парной расслабились: давай байки вспоминать и гитарой слух улащивать. Собрались спать. Дед Яков, замявшись, сказал: «Вы вот что, ребята, когда на обрат пойдёте... заходите... захоронить меня. А то не по-христиански будет, без могилы-то».

Закатились мы смехом, здоровенный дед, ручищи-кувалды, борода-оклад, а он про смерть.

– Чую, что помру, сй-Богу – закрестился он.

– Ты ещё бабёнку заведёшь, кралечку, помяни моё слово – приободрил старика дядя Миша.

Наутро, поблагодарив деда, оставив ему табак, соли и стущёнку, продолжили путь к пересвалу и дальше, к озеру Джулукуль, в наш базовый лагерь.

Лето пролетает быстро, с радостями и огорчениями, с тоской по родным городам. Выручает романтика работы. В пробах первых дней были гидротермалики (киноварь и сулема). Наш начальник, Владимир Александрович, поставил задачу – оформить подробный топографический план и описать «разведку». «Академики» обрабатывали образцы, рабочие им не понадобились. Остались под командой геофизика и топографа.

Травостой с моховой подстилкой был всегда влажным. Мы с Генкой неслись, зажал «сlegt» между ног, обходя пни и валуны. На крыльцо взлетели взмысленными. Проскочив сени, тяжело толкнув дверь, замерли, не переступив порога. В комнате, на столе, в грубо строганом гробу, лежал дед. По-видимому, давно, борода торчала, словно растопыренная метла. Топорщились на окоченелых пальцах ногти, как звериные когти. Одна рука покоилась на груди, другая – свешивалась через край гроба. Генка подтолкнул меня сзади через порог, но через секунду мы уже были на крыльце.

– Вы как столбы, – сказал старшой.

– Да там мёртвый лежит дед Яков, – пробормотал Генка.

– Так ведь и помер, дедок. Вот ведун. Ладно, что, мертвцов не видели? Пошли, схоронить надо засветло, – продолжил старшой. Разворачиваемся и гуськом идём за дядей Мишей. Дед лежит в гробу, руки сло-

Ладони на груди, пальцы переплестены, в них горит поминальная свеча. Откуда? В радиусе полусотни километров или одной живой души.

— Откуда свеча? — толкаю Генку в бок.

Глаза его округлились, волосы будто приподнялись, лицо, как застывшая маска. Наверно, я выгляжу так же.

— Жиню, взяли крышку, лопаты и ломик у сарая, — команды отрывистые.

Так же, коротко врзались в скальный грунт. Над могилой пришлось потрудиться. Земля не поддавалась. Почти выбились из сил. Забыли.

Затопили печь, чтобы прогреть избу перед ночлегом. Заварили чай. Разговор не клеился. Тоска навалилась и бросила в молчании.

— А памятник или крест, как же, без креста нельзя, — напомнил Генка.

— Это уж утром, — покачал головой геофизик, — дай хоть отойти чуть, чуть.

Спать разбрелись, не сговариваясь. Дядя Миша на полатах, Генка на тачанке, я — на широкой лавке у стола. Перед сном сходили «до востру». Входную дверь заперли на кованный крюк, из сеней в комнату на пробыльную щеколду. Рюкзаки под голову, тулупы на себя. Тепло завладело всем лежбищем, усталость захлебнулась сном. Через небольшие, сработанные толорами, рамы двух окон, пробивая толстый слой пыли, на стеклах отражался бледно-матовый диск луны. Лишь одна его полоска отделила порог избы, другая же падала на стол.

Сквозь полуприкрытые веки, в медленном кружении проплывал прошедший день. Скрип ступеней грохотом отозвался в ночной тишине. Сон отступил, глаза широко раскрылись, слух обострился, дыхание участилось, как перед броском. Глухо, не раскачиваясь, слетел крючок, несмазанная щеколда пропела зубной болью. Потянуло прохладой. Мои руки лежали на груди, кисти согревались под мышками. Тулуп стал жёстким, мех его прокалывал одежду, словно стальными иглами. Оцепенение разливалось по телу тёплой испариной. Губы спело в каменный жгут, от зажатых туго зубов боль плыла к вискам. Стало зябко. Что-то липко-влажное ощупало лоб, щеки и опустилось на подбородок. Глаза слепы, голова мелкими тиками с усилением поворачивалась. Ах, вот оно что! На столе стоит, нет, покачивается бочкообразное, отливающее на кончиках шерсти блёстками, сорокасантиметровое тело. Два кристалла в верхней части светятся изумрудным, пульсирующим светом, который перемещается, подкрадываясь. Удар пришёлся по глазам. Тело расслабилось и погрузилось в сон. Сознание провалилось.

Мужички говорили о чём-то весёлом, балагурили, лёжа курили.

– Поспали, так поспали, вот, что значит на сон поработать, размяться. Ну что, подъём, – сказал старшой.

Перекусили тушёной с сухарями, допили вчерашний чай. О том, что было ночью, ни звука. Собрали свою экипировку. Вышли на крыльцо. Никто не смог сдержать криков. Могила была разрыта, вокруг разбросана щебёнка, галечник, какие-то рваные окровавленные куски.

– Пошли отсюда – высоким голосом завопил старшой и рванул в сторону леса. Мы, не оглядываясь, поспешили за ним.

ПРОКОЛ

Отроги Ильменского хребта Уральских гор ласково и безнатурно подкрадываются, извиваясь, к истоку неказистого ручейка. Перешагнуть чуть больше полуметра, даже не «задрывая» болотинки, поспешно любому кержаку. Шагай, забивай колышек, цепляй за него крыло бреденка, заводь другое крыло и выбирай «тоничку», прижимая нижний прогон к отполированным голышам каменистого дна. Хвату всегда везёт: две-три щучки, окунь, чебак, ёршик, – бьются в мотне, испытывая клеточное ограничение.

Ручей потом дальше будет пробивать горные породы, глинистые сланцы и питать, поить гиганты Урала: металлургические, ферросплавные, цинковые и другие заводы. А здесь, у истоков – настырная, щедрая, родниковая, золотая реченька.

Вдоль русла, по левому берегу, протянулось село Новоандреевка. Две улицы: Верхняя и Нижняя. Длинной каждая – полтора километра. Сельсовет. Сельмаг. Сельпо. Живут лесорубы, охотники, егеря и золотискатели. Два «монитора» размывают берега, плавающая «драга» разрабатывает россыпи донных отложений. Месячный план – полтора-два пуда самородного золота. Такова она, на карте река Миасс.

Флорик, точнее Флор Игнатьевич, незаметный, сухонький семидесятирёхлетний инвалид, соседствовал огородами с погодками Нинкой и Лизкой. Обе вдовы невесты – «солдатки». В том, 43-м, 37 мужиков прошли по Нижней улице села в последний раз.

Сталинградский фронт возвращал назад только похорошки. В скверике, напротив сельсовета, небольшой обелиск со звездой и 37 фамилий односельчан.

Флорик ковылял с друзьями, от обиды глотая слюски в горле. Уго-раздило его выбрать эту стройную красавицу на каменистом склоне. Поднялся, обдирая руки и покрывая домотканые штаны белым налё-

том ствола, выше всей ваты. Не выдержал верхний хлыст хрупкое тело, не согнулся дугообразно, не выпрямился резко, когда не достиг до земли метр-полтора с весёлым криком, разжимая пальцы рук, пригнулся на высокую, горно-изумрудную траву-мураву. Обломился берёзовый ствол. Так, с веточкой-верхушкой, зажатой в кулачках, упал он на валуны. Стёпка, заводила и гроза всех огородов, один, нагнанный, достиг его до избы. В заводском городке, куда отец на подводе довёз его с ветеринаром, провалился Флор на пружинистой кровати больше полумесяца. Кости срослись да таким колесом, что стали выдвигать друг друга при ходьбе, оставаясь тоненькими, как в детстве.

Стенки, спаситель его, сгорел в танке. Бабки толкуют, что не в солдаком дыму сгорел богохульник, а в адеком, смоленском котле. Это он в конце 30-х, активист-агитатор, сорвал все иконы, что висели над алтарём и соорудил из них спинки на полатах. Ну, чем не царское ложе? Церковь тогда и разрушили. Может, и постигла Стёпку Божья кара? Поди, разберись теперь.

В сентябрьский день село было растрезвожено важным событием. К полудню сельчане потянулись к клубу. Накануне, на обороте аляпистых обоев, размером с полватмана сообщалось, что городская прокуратура проводит выездной суд. Обвиняемые: Флор Игнатьевич Лисин, Нина и Лидавета Андреевы. В зрительный зал проходили степенно, без суеты. Рассаживались основательно. Передние ряды не занимали, было светло от лампочек на сцене. Длинный стол, с красной скатертью, выглядел торжественно. По бокам, чуть выдвинуты к краю сцены, два маленьких стула, взятых в Сельсовете. На первый ряд прошли Флорик, баба Лида и баба Нина. Возле них участковый, единственная местная охрана, лейтенант Матвей.

Городская кралечка с короткой стрижкой, в брючном костюмчике, на каблучках, развернулась к залу, показывая белую блузку с коротким чёрным галстуком, попросила всех встать. Ползала мужиков готовы были не только встать, но и упасть перед ней на колени. Вторая, женская помощница, с загнётной завистью смотрела, прижимая уголки пояса к глазам, откладывая в памяти каждую деталь наряда.

Судья — пожилой мужчина в чёрном костюме, при галстуке. Заседала и женщина с властным лицом продавца сельмага и добродушно простоватый пенсионер с орденскими планками. Обвинитель — прокурор, женщина лет тридцати пяти в тёмно-синем форменном платье. Адвокат — наш председатель сельсовета, Отто Закирьянович. Башкиро-татарин, он по административно-депутатской льготе сумел проинфильтровать в Орский филиал юридического института на заочное

обучение. Гордый и важный от своей дебютантской миссии, он уже витал в грёзах над продажной Фемидой, в первых эшелонах юриспруденции.

– Прошу всех встать, суд идёт, – громко объявила кралечка. Начала женщина-прокурор – преступная группа, – смех в зале прокатился волной, – в составе трёх человек, неоднократно намывала золотой песок и тайно сбывала его частной клинике города Сарабаш.

– Проколотся Флор, – сосед слева выдавил сквозь сжатые зубы, скрытые густой бородой.

– Преступление, – монотонно продолжала прокурор, – квалифицируется статьями УК РСФСР №97. «Присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного государственного или общественного имущества» наказывается сроком лишения свободы до трёх лет или штрафом 1-5 месячных окладов.

– Полгода без пенсии, как закрутила кандащица, а с виду добродота, – насупив мохнатые брови, процедил комментатор.

– А также статьёй №89, в части первой «Хищение государственного или общественного имущества (кража) – ропот возмущения в зале, – наказывается сроком до трёх лет, или статьёй №89 в части второй «Хищение государственного или общественного имущества по предварительному сговору группой лиц», наказывается сроком лишения свободы до шести лет с конфискацией имущества.

Тишина. Казалось, все перестали дышать. Флор приподнял голову, посмотрел на своих «подельниц», улыбнулся красшом губ, прищурив, с хитринкой заблестевшие глаза. Ему, «организатору» первому и ответ держать.

– Ежели я, к примеру, – начал он, придерживаясь рукой за край сцены и обращаясь к прокурорше, – на поляну клубники вышел и беру её или опять нарежу, воровство энто?

– Нет, это не воровство.

– А ежели я излишек к сельпо или к остановке вынес и продал стаканчиком, хищение энто аль нет?

– Нет, это деяние уголовно не наказуемо.

– Я рублик, аль в кошелёк нашёл, стало быть, вор?

– Найденную вещь необходимо сдать в Бюро находок, а если сумма значительная, что ж, повезло.

– Вот, граждане, и я о том же, – продолжал обвиняемый, повернувшись к односельчанам.

– Не мыли мы кушеч. Энто сколько землекопством заниматься надо? Сколько перелопатить её, кормилцу? Дак ещё и водичку-промывку, хоть ручеёк захудалый. К тому же, лоток да сито. Вот тогда и

старатель. У нас на селе это любой дитятко знает. Не сдал золотины
отнести. А с солдатками мы не золотарили, просто нашли. Как вы ска-
зали, – уже повернувшись к прокурорше, – повезло!

Хорошо, Флор Игнатьевич, а рассказать где это место или на кар-
те показать? У нас и километровка есть.

Мой сосед хрюкнул сквозь зажатую кулачником бороду, а на глазах
Нины зались слёзы от еле сдерживаемого смеха.

Кралецки поднялась со своего места, подошла к краю сцены, про-
ткнула карту района.

Дак мы по логам, склонам и увалам. Тайга-то большая. А с картой
мы не научены. Всё ножками.

Не прикасаясь к карте и засмуцавшись близости «городской», её
тонкого, ароматного облачка, что окружало смущённое, обиженное
лицо, Лисни поковылял к своему месту.

Совещались долго, но в зале нетерпёж не выказывали, ждали мол-
чи. На сцене все расселись по своим местам. Оглашение приговора
был, по просьбе модницы, выслушал стоя.

Лисни, Флор Игнатьевич – судья сделал паузу, – признан вино-
вым по статье №97, УК РСФСР и лишается свободы сроком на один
год и шесть месяцев – условно. Нина и Лизавета Андреевы признаны
невинными, срок на обжалование приговора – четырнадцать дней.

Выходили на свежий воздух шумно, с переговорами, подталкивая
друг друга. Мужики задымили самосадом. Дым от моей сигареты в
этих облаках был невидим.

Понто этого «зубника» на суде-то не было? Это мой сосед-ком-
ментатор, наклонив голову к собеседнику, такому же «лешаку», вопро-
шал, порцией очередной затяжки табака.

Дак он, чай, при деньгах...

Откупился?

А по!

Да, правда тонет, когда золото всплывает.

Не комментатор мой сосед, а просто самородок-фольклорист.

Ты мне скажи, Флор-то бобыль. Да и родни у него никакой. Кому
«жизню» передавать будет, не приведн Господи, подойдёт времячко?

Подможет, кому никому... А ты не про него, о себе наперёд по-
думай.

И осветил собеседника златозарным блеском «старательских» глаз.



Игорь Коган

Родился 23.11.1947 года в Москве. В Берлине с 2003 года. Публикации: в журнале «Советская музыка», сборнике поэзии «Я вижу сны на русском языке», альманахе «До и после» №№10-14. Книга стихов и прозы «Между небом и землёй».

ШАРЛАТАН- 2

ИМЕННЫ

*«Милостивый Государь!
сего июля, 13 дня, года 19... – от Р.Х. о двух часах пополудни,
на Чистых прудах, в день моего тезоименитства, покорнейше
прошу Вас сделать мне честь откушанием обеденного стола».*

Именно такое приглашение, на старинной гербовой бумаге с вензелями, отконал я вечером среди прочих газет и всяческих извещений в моем почтовом ящике. На оборотной стороне приглашения было начертано:

«Цетов не надо. Несите квасу».

Из всех известных мне людей, с которыми я последнее время общался, такой «высокий штиль» мог завернуть только один человек – мой, теперь уже близкий знакомец и приятель – въедливый, скрипучий старик по прозвищу «Шарлатан».

Он и меня этим «штилем» заразил. Иной раз, против воли, такие простые слова загибаю, что у моих рыночных компаньонов, которые на своем-то родном языке с трудом изъясняются, глаза на родинчочек лезут, а тут ещё я со своим «великим и могучим»...

О том, что я его так симпатично окрестил, старикан, конечно, духом не ведал и слухом не слыхивал. Прозвал авансом, когда понёлся к нему со своей бедой, понятия не имея, с кем придётся иметь дело.

На завтра у меня были кое-какие стандартные планы, но я был рад приглашению – всё лучше, чем по своим палаткам мотаться – в такую жару всё равно никакой торговли, хотя, когда старик звал, я бросал всё. Что могло быть важнее и интересней, чем общение с человеком, прожившим на земле не одну сотню воплощений и, в отличие от подавляющего большинства людишек, сохранившим об этих прошлых жизнях стопроцентную память.

Была, правда, ещё один аргумент: с этой ночи в небесах воцарилось полнолуние – самое бесшабашное и распрямлённое для меня время. Заниматься чем-либо путным в эти дни я катастрофически не в состоянии, просто бес в меня вселяется – только пить и по бабам шастать, причем без разбора и до кучи... Слава богу, это золотое времечко всего-то два-три дня в месяц бывает, и то потом неделю в себя прихожу, а так, хоть с толком проведу время.

Человек я, по натуре, быстрый и ранний – таких жаворонками зовут. Вспорхнувший из теплой постельки в половине шестого утра, да километров десять проскакать, да потом кое-чем тяжёленьким поразмигаться, да закусить всё это холодным душом – история для меня обычная. После всех вышеуказанных над собственным организмом наездов, такое неизмеримое блаженство доставляет чашечка горячего шоколада вкупе с хорошим табачком, что отказ ото всех этих вредных привычек возможным ни при каких условиях не представляется. Ну достал, достал меня старикан своим «высоким стилем». Скоро я не то что горючить – думать на сентом «стиле» буду.

Переделав до полудня кучу малополезных делёшек, я позвонил старшему продавцу, дал ценные указания, выскочил на улицу и, торкнув бомбилу, погнал за квасом.

Июльская жара Москву накрыла прицельно и капитально. Сушник, пыльца, запах горелых подмосковных торфяников достали всех. Кобы не бизнес, я б давно, со своей подружкой, или другой неисповедной красоткой, на каком-нибудь побережье косточки плавил.

Загрузив в багажник целый ящик, чего перед стариком жадничать, и навалив бомбиле адрес на Чистых прудах и мы поехали. По дороге я стал мельком просматривать вчерашнюю газету, естественно раздел спорта, чтоб особо не заморачиваться.

В самом низу последней страницы относительно молодой мужчина печально и прощально всем улыбался. Под фото была заметка: та-кой-то и тогда-то выбросился из окна такого-то этажа, такого-то дома. Если судить по адресу, это было самое элитное на Москве место. Интересно, чего ему не хватало?

Старик давно приучил меня обращать пристальное внимание на

неские нюансы и подсказки, смотреть на всё не прямыми глазами а, так сказать, периферийным зрением – гораздо больше увидишь и поймешь. Такое зрение очень сильно развито у женщин. Нам, мужчинам, и невдомёк, а они секут, секут – всё секут заразы. Я, собственно, к тому, что не зря мне эта фотка газетная попала – что-то необычное обязательно случится. К слову сказать, старик без повода никогда не звял.

Выгрузив квас, потащил я его на второй этаж в Шарлатановы «апартаменты».

Тут всё было, как было – по старому – полумрак, тишина и прохлада, спасительная, жителенная прохлада, возможно единственная на всю Москву.

Он встретил меня тоже обычно, с весёлой, проницательной искоркой в глазах. Я не был исключением, так он держал себя со всеми. Мы все для него были младенцами. Он, конечно же, посмеивался над нами, над нашими мирскими потугами, жалел нас, и вообще неплохо относился – как к детям. Чем каждый из нас дышит, он определял в момент, а потому с мерзавцами и подонками дела не имел – ни за какие деньги. Если кто-то из них наставлял, особенно угрожал – очень жалел потом, жалел долго, если в живых оставался, ибо за наглость наказывал старик очень жестоко – без скидок, эмоций и жалости. В таких случаях он говаривал приблизительно так: «Ну, не хочет чужак по-хорошему карму отработывать – часть в этой жизни, часть в следующей. На всё сразу нарывется. Ну что ж – «вольному воля, спасенному рай» и добавлял, смешивая две народных поговорки в одну, хозяин – барин, а мёртвые сраму не имут.

Теперь, по прошествии многих лет, самым подробным образом проштудировав те записи, которые он мне оставил, я думаю – нет, я уверен, что старик был не только астролог, а гораздо, гораздо больше. Уж не знаю, как он там у них по должности называется, и у кого это «у них» я тоже без малейшего понятия, но то, что хрыч старый не с Земли, не отсюда, я точно знаю. Более всего, по нашим меркам, ему подходит должность с малопривлекательным названием «Смотрящий». «Жираф большой – ему видней». Может они планету нашу не Землёй зовут, а Бутыркой?

В гостиной были убраны со стола все бумаги и скатерть. Обнаженная столешница поделена на две половины. Посередине, визави, стояли два резных кресла. По краям – два массивных, трехрожковых канделябра, двух – трех вековой давности, с зажженными свечами. На одной половине расположились: форшмак, балык из лосося, селедка под шубой, паштет из куриной печени, карп в вине, цыплёнок в вине, говядина в винном соусе и чернослив со свёклой. На другой половине

в качестве гарнира присутствовали запечённые в глиняных горшочках каши: каша по монастырски, гречневая с грибами, ячневая с творогом, смоленская каша, а так же грибочки: грибочки маринованные, грибочки жареные, грибочки жареные с луком. Завершали композицию несколько видов душистых трав и пряностей.

«По старикан даёт – подумал я, – ну прям старосветский помещик». Если кто-то думает, что я, хотя бы приблизительно, разбираюсь во всяческих там разносолах и прочих кулинарных излишествах, то этот кто-то глубоко заблуждается. Картошку от селёдки я, разумеется, отличаю, и будет с меня. Однако, в каждое блюдо была воткнута палочка с бирочкой, а на каждой бирочке написано, что из себя данная еда представляет. Потому и перечисляю.

Ну с, Милостивый Государь, – шутиливо проскрипел Шарлатан, потирая руки – вострешенцем нутром нашим и возвеселимся душами. Приглашайте, насыщайте чрево своё и гортань свою усладите посредством трансзы из редких яств нетлеющих. Да «Не заморит Господь голодом души праведных», так, кажется, в писании сказано. Ибо возвестил Соломон в Притчах своих: «Праведники в веках живут. От Господа мзда их и устроение от Вышнего...».

Откуда Вы всю эту еду натаскали? – спрашиваю – ведь не сами же готовили, да и денег это дешёвых стоит.

Кто Вам сказал, молодой человек, что я без денег сижу? – старик захорохорился и перешел на нормальный русский – вспомните, сколько я с Вас за услуги взял? Вы у меня не один такой. С деньгами всё, что угодно, заказать можно. Час назад принесли и на стол поставили.

Я, знаете ли, не голодаю, особо не пощусь, во многом себе не отказываю. Немалую часть, правда, по детским домам и приютам раздаю, однако и себя забывать не стоже. Я, молодой человек, очень точно знаю, сколько из заработанных средств могу на себя потратить. Больше чем разрешено даже на грош не превышу. Так воздадут по рукам-то – враз отсохнут. Я, хоть и... – он занулся – за мной, ведь тоже контроль имеется.

Ну да ладно, как говорится, приступим – старик вновь уселся на «широкый штитель». – Пицца, она тоже свой срок любит и душу живую в себе содержит. Если мы пиццу ко времени и со знанием дела употребим, то она с превеликою благодарностью и пользой по нутру нашему растворение имеет, а не оседает салом свиным в чреслах наших. Нушм от благ мирских, кваском добрым восполним утробу нашу, и в дело. Или с квасом – пришли с вопросом. Угадал?

По окончании трапезы вкупе с обильным квасным возлиянием,

старик одним махом раздвинул горшки и тарелки по сторонам, освободив середину стола. Я, без слов, протянул ему газету.

Некоторое время он молчал – молчал и мрачнел.

– Ну что ж, – услышал я наконец, – сторон вселенских много, гораздо больше четырёх. Мальчик сам выбрал. Месяца не пройдёт, как он снова родится, причем в значительно худших условиях. Прервать карму невозможно, можно только исполнить, облегчить, или усугубить. Он был у меня год назад. Я думал, что смог убедить его. Какая большая, страшная неудача. Моя неудача. – Старик откинулся на спинку кресла, пробарабанил на подлокотниках какой-то задумчивый марш и продолжал. – Он пришёл и сказал – Я убийца. Я убил уже трёх человек, а нескольких сделал инвалидами. От меня ушла любимая девушка. «Все, кто рядом с тобой имеют несчастье, – сказала она. – Меня не радует перспектива рыдать над могилами наших будущих детей». Я остался совершенно один. Все остальные хотят только моих денег. Что мне делать? Я не хочу жить.

В прошлой жизни он был редкостный авантюрист и шулер, даже в историю вошёл. Несколько биографий о нем написано. У него в гороскопе был очень сильный Нептун с великолепной комбинацией планетарных аспектов. Он мог бы стать превосходным врачом, психологом, целителем, как тогда говорили знахарем, но выбрал другое, и столько ограбил, что к концу жизни сделался сказочно богат. В этой жизни он оказался единственным наследником своих же собственных, хотя и отдалённых, потомков, род которых за рубежом пресёкся.

Согласно закону равновесия – основному закону нашей вселенной, он родился добрым, непрактичным, патологически доверчивым, совершенно неспособным управлять тем огромным состоянием, основу которого пару столетий ранее сам же и создал, а теперь получил от своей, когда-то изгнанной из российской империи, родни в наследство.

Повторяю, парень этот мухи обидеть не мог, даже если бы очень захотел. Доверчив и наивен патологически – за прошлые грешки отвечать надо. Естественно, все кому не лень, кому чувство чести и чувство собственного достоинства премилло позволяют, как это у вас на рынках выражаются «лохов гноить», не ощущая при этом собственного унижения, этой его беззащитностью безвозмездно пользовались. Однако, как оказалось, далеко не так безвозмездно, как им казалось. Прошу простить за каламбур.

Дело тут вот в чём. Каждому человеку дается сверху определённая защита. Чем лучше он может позаботиться о себе сам, тем эта защита слабее. Беззащитных провидение оускает особо. Беззащитные самые опасные. Вокруг них как бы ловушки расставлены – что-то вроде

мина-растяжки. Человек нормальный, безгадостный, в такую ловушку никогда не попадет. Ловушка просто не сработает. Действует ловушка так: очередной желатель «лоха» нашего каким-либо образом нагреть, естественно растяжку задевает и мина срабатывает. Срабатывает мина не на физическом плане – руку там оторвет или ногу, а на полевом уровне – рикошетом. Рикошет на уровне поля – как вода – всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

В результате страдает энергетически наименее защищенный член семьи – иногда ребёнок. Либо инвалидом становится, либо умирает. В лучшем случае болеть будет до конца жизни. Что чувствует такой родитель? Своего ребёнка даже подонок любит. Вот и будет мучиться. Сам жить не захочет. А ты не замай. Наверху этого ох как не любят.

Я пытался объяснить ему, что он в несчастьях этих людей не виноват. Виноваты их родные – люди малоприятные, а некоторые – просто негодии. Он отвечает только за своё. Ему надо смириться, жить, терпеть, на своей шкуре испытать все душевные муки обманутого, ограбленного человека. Убежать невозможно – и здесь, и в Европе, и в Африке, и в Штатах судьба будет подсовывать ему людей, желающих нагреть руки на его состоянии.

Для того, чтобы Вы более подробно расшифровали для себя то, что я Вам сейчас поведал, перечитайте «Граф Монтекристо» Александра Дюма. Наказание неотвратимо. Разница только в том, что все персонажи этого романа получили по заслугам в течении одной своей жизни. Так распорядился автор, но так бывает не всегда.

В незнамятные времена некто весьма древний и мудрый сказал: «Форми что хочешь, но сначала заплати». От себя добавлю: не хочешь платить – всё равно заплатишь – не в этой жизни, так в следующей, не своей жизнью, так жизнью или здоровьем родных, близких – в любом случае дорогих тебе людей.

Такая вот история. Ну да ладно. История эта не Ваша и не моя. Я и так сказал больше, чем имел право. Вам свою карму разгрести – надебастесь ещё вдосталь. Человек Вы достаточно чистый, мало загрязнённый, к таким наказание за ошибки быстро приходит.

Всегда крепко думайте, прежде чем что-то сказать, а тем более сделать. Личный посыл у Вас очень сильный – что кому ненароком пожелаєте – глядишь, исполниться может.

И, кстати, сегодня наказан – через Вас. Ошибся и получил, соответственно своей ошибке.

Не распространяйтесь – не Вы, так кто-нибудь другой. Идите молодой человек. Я приглашал Вас совсем для другого разговора, да видно не судьба. В следующий раз перемолвимся. Какие наши годы.

Шёл я от старика домой пешком – шёл и думал: следующую жизнь, да и остальные тоже, постараюсь провести где-нибудь в другом месте, где почище будет, а сюда больше ни ногой, ни за какие коврижки! Ну её в баню. Землю эту, с её дурацкими порядками – тоже мне планетка.

До родных пенат я добрался в первом часу ночи. Сострянал кофе и выполз на балкон, раскурив традиционную предсонную сигарету.

Над Москвой зависла удушливая палёная тишина. Сквозь горелую торфяную вуаль перемингивались звезды, нагло выщеривалась огромная луна – голая, голая. Разлеглась, раскленилась над городом – сс-с-сука. Только покоя лишает. Она всегда лишала меня покоя, причём в самое неподходящее время – просто отключала и всё.

Вот и сейчас что-то непонятное внутри меня заскреблось, зачесалось, затикало. И уже засыпая, в полудрёме, я вспомнил, как краском глаза углядел в стариковской спальне едва освещённую в полумраке картину – небольшой, в полупрофиль, портрет молодой женщины дьявольски-божественной красоты. Надо будет в следующий раз по-расспросить старика, что за дамочка такая, подумал я и до утра провалился.

Генриетта Ляховицкая

Родилась в Ленинграде. С 1996 г. живёт в Берлине. Публиковалась с 1987 г. в России и Германии, в журналах, антологиях, альманахах. В их числе – «До и после» №№1 – 14 и «Третий этаж». Издано 14 книг. Среди новых: «Лики любви», «Талисман запоздалый», а также философский триптих «Генер. Модель мироздания». Часть произведений переведена на немецкий. Участница сборников «Скритич из гетто» и «Еврейские мотивы».



ГОРОД-ЛИЦЕДЕЙ

Приметы северной столицы –
гранит и шпиль над водой,
персоны, лики, небылицы
теснятся странной чередой –

театр-город днём и ночью,
под белый обморок небес,
сквозь морок призрачный
морочит
людей – парадоксальный бес.

Спектакль, комедия дель арте,
театр масок, куклы, мим...
Всегда в ударе и в азарте,
во времена неуютном,

он в декорациях бесценных,
ему подаренных судьбой,
разыгрывает драмы сцены
с бурлесками наперебой.

Эстрадные преображенья –
миниматюры и гротеск,

ДО И ПОСЛЕ поэзия и проза

балетов дивные движенья,
и петербургский стиль и блеск!

ВРАТА РАЯ

*Парадиз – рай
от греческого сад, парк.*

*Меандр – древнегреческий
орнамент.*

Вход в Летний сад:
прозрачная ограда
воздушной кажется,
и кованый металл,
каким его когда-то начертал
великий мастер, – не из ада
пылающего горна кузнеца,
а будто мановением Творца
возник и стал вратами рая.

И сотни лет уже,
дивясь и замирая
от восхищенья красотой,
любимся
волшебной простотой
и строгостью
железного узора
ограды, и ворот
с их золотым меандром.

Весь сад,
сквозь них открытый взору,
пусть даже и не в олеандрах,
но Средиземноморьем веет:
деревья к лету зеленеют,
белеют мрамором скульптуры,
классические их фигуры
почти совсем обнажены,
в них древний миф и Юга нега...

Но грозно северной страны
дыханье – холод льда и снега
 зимою сковывает сад,
 и этот беспощадный ад
суровой предполярной зоны,
губительный для южной красоты,
 выдерживают лишь цветы
железные – в откованных вазонах
ворот, ведущих в Летний сад.

ЕЁ СВЕТЛЕЙШЕСТВО НОЧЬ

Над мощною волною из гранита –
над символом империи морской
нетерпеливо вздыблены копыта
коня под всадником с простёртою рукой.

День отошёл над городом огромным,
и город погрузился в забытьё.
На фоне неба смотрится он тёмным,
и смутной видится История его.

Всё было в ней: и тяжкий труд, и битвы,
борьба за власть, за волю, хлеб и кров,
бессчётных жертв напрасные молитвы,
интриги, заговорщики, и кровь...

Истерики Истории не властна
смутить Невы стремительный покой,
когда встаёт, медлительно-прекрасна,
такая ночь над царственной рекой.

БАЛЕРИНА

Взлететь,
и лишь едва коснуться сцены,
и вновь лететь,
 как будто драгоценный

свет рампы – волны или кванты –
ввысь поднимает.

На пуанты
беззвучно, невесомо
приземлится,
заметить зрителей
восторженные лица,
и скрыв весь труд,
упорный, кропотливый,
изобразив
весёлую беспечность,
почувствовать себя,
на миг, счастливой...

Пусть думают,
что всё пришло само –
отточенность движений,
безупречность –
классического танца
волшебство!

Детям

Из цикла «По грибы»

КРАСИВЫЙ ПОД ОСИНОЙ

Бархатная шапочка,
серенькая тапочка –
Подосиновик! Красивый
он не только под осиной.
Потому-то не напрасно
называется он *красным*.

ИХ СЫРЫМИ НЕ ЕДЯТ

На ножках -белоснежках
проснулись *сыроежки*.
Хоть сыро им немножко,

но так приятно ножкам,
и шляпкам, очень хрупким,
в траве вполне уютно.

СМУТЛЯНКИ НА ПОЛЯНКЕ

Вот, вблизи от тропочки,
в мох воткнулись кнопочки:
крошечки-подружки –
смуглые *горькушки*.

ВМЕСТЕ НА ПЕНЬКЕ НЕ ТЕСНО

Головёнка к головёнке
на пеньке растут *опёнки*,
и на очень малом месте
им совсем не тесно вместе.
Видно, дружные ребята –
тонконогие *опята*.

СЧАСТЛИВЫЕ – НЕ ЧЕРВИВЫЕ

Вот *лисички*-лисёнки –
солнечные искорки,
в одежке жёлтой лайковой
во мху мелькают стайками.

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ – ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ!

Здравствуй,
вкусный,
грузный
гриб!
Как внезапно
ты возник!
Груздем быть
имеешь честь? –

в кузовок
изволь
залезть.

ГРИБОК – СМОРЧОК

Из-под снега прямо –
смятая панама –
вылезает старичок
по прозвищу сморчок.
Под землёй не усидел,
знать, весною много дел.

МАСЛЯНАЯ ГОЛОВУШКА

Выбирается из плёнок,
как из беленьких пелёнок,
замечательный маслёнок.
Из земли он вылез ловко –
маслом смазана головка.

КРУГЛЫЙ, А НЕ МЯЧИК

Дождевик молодой
с круглой крепкой головой,
как упругий белый мячик –
книжь его, и он поскачет.

А когда состарится,
в нём лишь пыль останется...

ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАЙ!

На красненьком платочке
белеют ярко точки.
Мухомор – вот чудный вид!
Только жаль, что ядовит.

Но
головной его убор
украшает тёмный бор.

НЕ ОБМАНЕМСЯ

*Поганка ядовитая,
вся плёнками увитая,
ломкая и бледная,
с виду ты безвредная,
а на деле – ведьма злая.
Мы в лицо тебя узнаем!*

ГРИБОЧКИ ВЕСЁЛОГО ЦВЕТА

*Добрый рыжик, смел и сочен,
быть один не любит очень.
Может, рыжики смеются,
если вместе соберутся,
словно рыжие монетки,
под еловой лапой-веткой?*

РАДОСТЬ ГРИБНИКА

*Крут и крепок боровик –
гриб-хозяин, лесовик.
Исподлобья поглядит –
сердце прыгает в груди!
Низкий белому поклон –
царь грибов недаром он!*



Валерий Матэтский

Родился 31.05.1949 года в Красноярске.

В Германии с 1991 г. Публикации: Антологии «Русские поэты в Германии».

В альманахе «До и после» №№9 – 14.

Книга стихов «Поцелуй в язык».

БЛЮДЦЕ ЛИТАНИИ

День опустел,
Как кофейная чашка.
Выпито солнце.
Красный осадок на дне.
Тонкий крик чайки,
Как талия чайной ложки,
Блюдцем литании
Катится по Луне.

ЗАКЛИНАНИЕ

Положу я стрелочку
тонкую как девочку
поперёк тугующей
до те-ти-вы
Ты лети мой клинышек
пламя пёро-крылышек
птиче-клюво-тлеющий
до си-не-вы

До сине-высбонькой
нёвы-носи-моконькой
небо-сине-стопущей

го-лу-би-ны
Ты лети калёная
бёло-куравлёная
в середино-то́ченный
глаз пе-ри-ны

Упади на солнышко
прострели зрачёнышко
крик как свист кручёная
ой-да-пор-ви
Как струя мелькнувшая
золота глотнувшая
захолонно-рунная
о-бо-ро-ни

Воздухо-влечёная
ру́ко-полонённая
разом обречённая
дай-да-возь-ми
И легко как пёрышко
золотое донышко
невесомо-млённое
пе-ре-вер-ни

МЕЛЬ

Слёз прозрачная капель
Нитку бус вкатила в щёки,
Расщепила на потоки
Перебранки канитель.

Перерублены канаты,
Жилы, руки, крылья ли,
Жёлтый пепел, октябри,
Солнце, осень, ветер, даты.

Звёзд прозрачная капель...
Это осень, это небо,

Sky, refrigerator, нега,
Горький запах, горький эль...

Это осень, это хмель
От похмелья обретенья
Жизни, как столоверченья.
Рванный парус, ветер, мель...

Мель, мель, мель...

Мой кораблик на мели
Рвёт прорехи на поводья,
Руки, гневным половодьем
В запах пурпурной зари.

Слёз прозрачная капель...
Это осень, это эль.

*sky – (англ.) небо.
refrigerator – (англ.) холодильник.
эль – (англ. ale) вид пива, крепкий,
горький напиток.*

ОБРЕЗ ЛИНИЙ

Л.Ф.

Не измериться веслом! Или?
Ты живей, моя тоска – были!

Всё, что было – как волной смыло!
Только ты, в моё шитьё – шилом!

Я дрейфую в лепестках розы,
Но по сути – сквозь асфальт прозы.

Караул в меня летит, грянет
В губы сердца, как пятой в прыжок!

То не хмарь, во мне, как выпь стонет,
То тоски, во мне, Монблан тонет.

Или я тону в тоске дикой?
Ох, кудряво мне, моё Лихо!

Я цвету, как на окне – иней,
Не в сплетенье, а в обрез линий!

С-Ч-АСТЬЕ

А счастья – нет! А счастья – нет!
и С и Ч над миром кружат,
Как дыры от осенних кружев.
И астье – ОСТЯМИ планет.

«Ранет» планет, как капли крови...
И горек рапы зрелый вкус.
Остёй, обглоданный укус
Сечёт и сеет «ОСенЬ» боли.

И С и Ч и «счастье» соли...
И дождь из частых капель «нет» –
Небес РанНет.

*ость – тонкий, заостренный или перистый
ощипток (укус) у расщепей.
Ранет – порода маленьких яблоч; ранетовое дерево.*

ТИППЕРЕРИ

Я часы подбросил в воздух
Поперёк воды глубокой
Дал дыханью краткий роздых
И поплыл по небу боком

Как беременная Фрау
Я живот держу по ветру
Кто не верит (ваше право)
Пусть измерит сантиметром

Как Богиня Парусины
Над полоской линий карты

Я дрейфую в карпно-синий
Легендарный признак Марта

И Мартини гладит дёсны
Сладким хмелем «Типперери»
И веслом полощут вёсны
Страстно-пьяные Апрели

*Типперери – «Пуль Дилик ди Типперери», маршанта
италийских батальонов британской армии.*

У БОГА

Ты уБОГа моя жизнь!
Я у Бога!
Мы БОГатые на бис
Этим боком.

Этим боком мы с тобой
Дружим с Богом.
Мы уБОГие собой
В оба ока!

Бог и око, где конец,
Где начало?
Бог, ведь, око и венец
У причала.

Я светло отчалил в зрак,
В божье око,
А причалил в божий мрак
В зраке Бога.

ЧЕРЕШНЕВЫЙ ВЕЧЕР

В сущности, вечер – короче червя.
Ночь же – длиннее заспанных
глаз, где за веками зрячих вя –
знет слепая тьма и разные

росоподобные звёзды вех.
С утром приходит росе – конец!
Под шёпот листвы и пернатый смех
бросит на небо жених, венец –

день, обручённый с вечером.
Вечер короче судьбы и всех
вёсен, в лиану сверченных.
Вечер, ручьями вишнёвых утех...

Черешневый вечер.



Вениамин Палагашвили

Родился в 1941 году в Ташкенте.

С 1999 года живёт в Германии.

Публикации: в альманахе «До и после», сборник стихов «В переменчивом пространстве»

* * *

У этой страны не кончается детство.
Приученный к порке сё обитатель
попыне не знает достойнее средства,
чем строгий избрал для него воспитатель.

Здесь всё как у взрослых – суды и парламент,
где мнимые левые правым мешают,
здесь спорят шуты, обсуждая регламент,
друг другу потешным судом угрожая.

На страже законов несметное войско
со рвением служит, а не попарошку –
что плохо лежит, то и делят по-свойски,
себе по заслугам, своим понемножку.

У тех, кто во власти (и это не новость!)
горячее сердце и чистые руки,
кристальные души, такая же совесть,
хватает причин для грядущей разрухи.

Сбежали евреи, наука в простое,
хозяйство в упадке, в загоне искусство.
Что было ценимо – копейки не стоит,
народ экономит и пьёт без закуски.

В работе де-юре, в заное де-факто,
иная в нирвану под крепкою мухой,
он трудится будто бы, вроде и как-то,
с похмелья готовый на подвиг и муки.

Беду над страной победившего блефа
лечить бы, да детские средства негодны.
Внимая заветам из красного склепа,
как прежде подобное лечат подобным.

Одеваюсь по погоде –
было б сухо, да тепло.
Мой костюм давно не в моде,
он сегодня – барахлю.

Постепенно избавляюсь
от изношенных одежд,
заодно освобождаюсь
от несбыточных надежд.

От бахвальства, славословья
и холуйства отрешусь
и из подлого сословья
в благородном окажусь.

От гордыни непомерной
и от клятвенных оков
откажусь я по примеру
молчаливых стариков.

И очищенный от лести,
самоуверенья и вранья
я, взглянув на отраженья,
не узнаю сам себя.

По местам воспоминаний
поброжу без суеты,

где сжигались на прощанье
разведённые мосты.

И отправлюсь в путь – дорогу
в педалёком далеке.
Обновлённым перед Богом
я предстану налегке.

И когда в печали к яме
подойдут мои друзья,
я неслышными словами
встречу их: «Я – ваш, я – с вами.
Здесь другой лежит. Не Я!»

* * *

Те минусы, что видел я вначале,
пришла пора признать за плюс всерьёз:
в стремлении к знаниям множились печали,
забылась скорбь, когда расцвёл склероз.

Я вижу то подслеповатым глазом,
чего не замечал при зоркости былой,
и коль беззвучность слов дороже громкой фразы,
не нужно тяготиться глухотой.

Плохая память... не сомнителен ли минус?
Имён, названий, дат упомянуть не берусь,
но с ними старые забыть обиды силюсь –
забывчивость моя, тебе я ставлю плюс!

Был незабвенный дом, и в доме всё, что надо,
и в лучшем свете двор, полночный разговор
о том, о сём: жара! скорее бы прохлада,
пора ли ремонтировать забор?

И враз всё кончилось. И за окном чинара
другому дарит тень, и этот дом не мой.
В нём не рояль звучит, а суры из корана
и голос мне вослед: «Ты в махалле чужой!».

Теперь меня там нет. Я – минус незаметный,
гощу в чужом краю. С привычками – конфуз!
Перевожу слова с «могучего» на местный
и постигаю смысл значения слова «плюс».

* * *

Я опоздал сегодня, я проспал.
Но я смогу, сумею, наверстаю
и догоню – я лишь на миг отстал.
Семнадцать мне, я усталы не знаю.

Но, не настигнув их, утешился легко:
«Кто указал для всех одну дорогу?
Найду свою! Мне тридцать. Слава Богу
мне хватит времени, ведь финиш – далеко!»

Я продолжаю бег. Закончился асфальт.
Я знаю – к цели путь лежит через ухабы.
Ухабы есть, но цель угадываю слабо.
Мне сорок. Позади прямая магистраль.

Извилистой тропой миную дом, подворье,
по карте дальше пруд, за ним пустырь и сад.
И хоть мой бег трусцой полезен для здоровья,
перехожу на шаг – мне скоро пятьдесят.

Но где же цель моя? Ей впору измениться
за сорок с лишним лет. По-прежнему одна?
А может в шестьдесят к ней больше не стремиться?
Неужто так важна? Не старится она?

Движение - самоцель – проклятье! На беду
Открыл лишь в семьдесят, что было на виду:
цель жизни – жизнь! Спешить, конечно, стоит,
но ей не насладиться на бегу.



Анжелла Подольская

Родилась в Киеве. В Берлине с 1994 года.

Публикации: в альманахах: «Берега», «Параллели», «До и После» (№№ 1-14); В антологиях русских поэтов Германии: «Ступени», «Четвёртое измерение». Участница берлинского сборника «Еврейские мотивы». Сборник стихов: «Я не от плоти». Подготовлен к печати двухтомник стихов и прозы: «Черновик чувств» и «Рисунки на песке».

КУРСИВ

ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ -ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ?-

Дар Божий? Проделки дьявола?

Счастье? Невыносимое страдание? Готовность жертвовать собой? Никто никогда не узнает.

Сумасшествие? Безумие? Безумство во имя безумства? Притягивающая, отталкивающая бездна.

Чувство, помогающее жить? Спасющее? На грани. Опасное. Гибельное.

Любить? Быть любимым? Совпадет ли это? Возможно лучше: «Не случилось. Не пронзопило. Не встретились. Не расстались».

Ошибка думать, что любовь создаст. Она разрушает. Сокрушает. Опустошает.

Формула любви? Не придумана.

Сублимация чувств. Бежать? Остаться? Вновь обмануться?

Искусство услышать друг друга. «Я тебя тоже», невозможные в любви слова.

Линки любви: «На ладони – нежность. В пальцах – откровение. Когда заканчивается дыхание. Или останавливается сердце».

Бесконечное молчание вдвоём. Забвение.

Иллюзия. Химера.

ДОЧКИ - МАТЕРИ

– Ну, рассказывай, рассказывай! – тормошила подругу Юля.

Алиса опустилась на стул и, картинно положив ногу на ногу, закурила сигарету. Её лицо светилось торжеством. Такой Юля видела её впервые. Алиса была слишком возбуждена, чтобы рассказать всё по порядку, и Юля из восклицаний подружки с трудом сложила картину происшедшего:

– Он сам позвонил? Сам?

Спрятав улыбку, Алиса сжала кулак:

– Вот он у меня где. И она тоже. Я докажу, что она ничего не смыслит ни в жизни, ни в собственной дочери.

Юля догадалась: подруга говорит о своей матери, отношения с которой настолько разладились, что Алиса всякий раз искала причину для позднего возвращения домой. По мнению матери Алисы, Б-г не наградил дочь ни умом, ни талантом, ни особо привлекательной внешностью. Она упрекала дочь в отсутствии прилежания, и в этом была почти права – та не радовала успехами и болталась без дела, с трудом закончив школу. Ссорилась с дочерью из-за её пристрастия к курению, из-за её вульгарности: «слишком рано девочка стала играть во взрослые игры». И самое главное – Алиса стала мешать её личной жизни и раздражала тем, что, взрослея, всё дальше отдаляла свою мать от юности. Она совсем не знала, что делать с дочерью, возманившей себя взрослой женщиной, её соперницей, и не могла избавиться от ощущения абсурдности происходящего.

– В общем, так мы с ним были вместе, – усмехнулась Алиса.

– Н?!

Да, ты не ослышалась.

– Не может быть, – сказала Юля, широко открыв глаза. – Ну, ты, мать, даёшь! Такой Мэн! Ты хоть любишь-то его?

Да какая там любовь. Так... Просто...

– Но хоть что-то ты к нему чувствовала?

Да, нет... Любонитства, ради. Впрочем, не знаю...

Отчего ты тогда так взбудоражена? Съешь лимон. Посмотри на себя – сияешь, как начищенный самовар.

– А у тебя лицо, как уксус, кислое. В твоих глазах нет поиска. Скучно. Ты не понимаешь – я в предвкушении... Каифую... Что она сделает, когда узнает? Не соображает, что юношеские поступки в её возрасте просто смешны. Время ушло. Это какие-то цирковые номера. Не более.

– А если не узнает? Если он ей не скажет?

– Ну... Я не стану кричать об этом на всех перекрёстках. Главное, что я знаю об этом.

– Слушай, Алиска! Зачем тебе это?

– Не понимаешь? Чем больше запретов, тем больше удовольствие.

– Значит удовольствие, всё же, было? Послушай, мой тебе совет: сделай вид, что ничего не произошло. Притворись.

– Ещё чего? Ты забыла, что она обо мне говорит? Я ничего не забываю. А если забываю, то делаю это специально.

– Как тебе это удаётся?

– Очень просто. У женщины всегда должен быть неожиданный манёвр. Про запас.

Юля смотрела на подругу с обожанием, восхищаясь её большими, неподвижно-тёмными глазами, тяжёлый взгляд которых не согласовывался с детскими, припухлыми губами. Душа компании, способная очаровать и девочек, и мальчишек.

– Алиска! Ты такая смелая. До ужаса. Тебе что, совсем её не жаль?

– При чём тут жалость?

– Ну, она всё-таки твоя мать.

– Юль! Не разочаровывай меня. Ты принадлежишь к людям, которые знают, как надо. Но их не хватает на поступки. Что особенного? Двое взрослых людей оказались в одной постели, если им этого захотелось. И не надо грузить ситуацию. Всё прекрасно. Не более того. У меня принцип: «Не люби никого, и будешь нравиться всем. Посылай к чёрту весь мир, и тобою будут восхищаться». Любовь – это фантазия. Люди придумывают её себе. Чем фантазия богаче, тем сильнее разочарование. А я не хочу... разочарований.

Хотя... Алиса чувствовала непонятное раздражение к себе самой, сознавая, что на самом деле сделала это не только в отместку матери. Всё-таки, чем-то он её зацепил. Было глупо так чувствовать. Но признать в этом она боялась даже себе. Все её принципы, оказывается, ничего не стоили.

– Ну, я пошла, подруга, – поднялась Алиса. – А то, маман взбесится.

Пришла?! – мельком взглянула на часы мать.

Не ответив, Алиса прошла в свою комнату.

Что происходит? Я к тебе обращаюсь.

А что происходит? Ты спрашиваешь? Или констатируешь?

– Слушай, девочка. Не юродствуй. И не провоцируй меня.

– А то, что? Ударить?

Две женщины пристально смотрели друг на друга. Мать – почти растерянно. Дочь с вызовом в глазах. Несчастие, стоящее между ними, было столь ощутимо, что казалось, его можно было потрогать руками.

Вматриваясь в дочь, мать пыталась угадать правду: «Было? Не было? Да, вероятно, она из тех женщин, у которых инстинкт материнства присутствует лишь в незначительной степени. Став девушкой, дочь превратилась в главный её недостаток наряду с неухоженной квартирой и бальзаковским возрастом. Возможно, она и любила дочь, но без особой нежности и жалости. К тому же, до конца не сознавая, завидовала ей. Было в Алисе что-то недоступное. Свобода, что ли? Раскованность? Неотразимые для мужчины качества.

– Что происходит? – вновь спросила она и, не выдержав взгляда дочери, отвела глаза. – Зачем ты флиртуешь с ним? Ты же знаешь, я люблю его.

– Пора избавляться от этой чепухи, мамочка.

– Это почему?! Послушай, неужели ты так меня ненавидишь?

– Ненависть – та же любовь. Только осквернённая. Ты забыла язык любви. Материнской.

– Я не понимаю... Не понимаю... За что ты так со мной?! С тобой страшно иметь дело, ты циник.

– Я очень похожа на тебя. Но из другого поколения. Мы – сильнее.

– Неужели, ты – моя дочь? Не верю. Оставь его. Оставь его в покое. Слышишь?

Божь, твоя просьба запоздала, – на какое-то мгновение в Алисе проклюнулась жалость, но она тут же отогнала это чувство прочь.

Чего исполошилась? Не обманывай себя. Тебе нужен вовсе не он, а планетарий на его погонах.

– Что у тебя с ним?

– У меня с ним «всё».

– Несносная дрянь. Ты мне не дочь. – Разрыдавшись, мать с кулаками набросилась на Алису.

– Давай-давай! Что и требовалось доказать. Разъярённая мать убивает заблудшую дочь. Да ты просто Иван Грозный в юбке. Заметь, какой-то, весьма посредственный, представитель ансамбля пенсии

и пьянства тебе дороже. А ему, знаешь ли, безразлично: ты ли, твоя ли дочь... И запомни. Это ты мне не мать. Это я отказываюсь от тебя. – Схватив рюкзак, Алиса выскочила из квартиры.

– Ему не безразлично. Не безразлично, – несло её вслед из-за закрытой двери.

Алису трясло: «Ненавижу. Ненавижу, мамочка! Ешь на здоровье! Такую вырастила. Не невинную романтическую героиню... Свою собственную кошку...» В этот момент Алиса до конца не осознавала, что чувствует на самом деле. Взаимная ненависть достигла такого накала, что могла превратиться в любовь. Стоя на обочине с поднятой рукой, она сигналила проносившимся машинам. Куда? Что будет завтра? Внутренний голос нащёпывал:

– Беги. Беги, Алиса. Не оглядывайся. Не надо.

СЦЕНКИ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Софья Петровна, замирая, вжимает голову в подушку. Но как ни старается, из-за стенки, где проживает бывший супруг, доносятся недвусмысленные звуки и прерывистое дыхание двоих.

Происходящее вызывает в ней стыд, отвращение, воображение дорисовывает непристойные сцены. То, что происходит там, по-видимому, нравится действующим лицам, и длится довольно долго. Как же она презирает его! Даже больше, чем ту женщину, «новую» жену. Софья Петровна ворочается в постели, не может уснуть и, конечно, утром, как результат – чёрные круги под глазами. Она не признаёт косметики, в отличие от той, другой, напоминающей самодовольную разрисованную мартышку, на лице которой всегда штукатуркой красуются румяна и тени, и которую сопровождает смешанный коктейль запаха пота и духов. Гадливое, отвратительное чувство, поселившееся в сердце Софьи Петровны, неуёмно ещё и потому, что изменить в этой ситуации что-либо не в её силах.

«Новую» зовут Маргаритой. «Зови меня Марго», – чувствуя себя в доме полноправной хозяйкой, объявила она при первой встрече Софье Петровне. Ни тени смущения, деликатности. Наоборот. В шелковом шуршащем халате, расплывающемся на её необъятной груди, почти каждое утро она стоит у плиты, варит борщ и жарит рыбу, прямо со сковороды бросая пережаренные кусочки в рот. Густой, адский запах смеси борща, натертой чесноком до зеркальности корочки черного хлеба, потрескивающих на сковороде рыбёшек, доводят Софью Петровну до головокружения. У неё чешутся глаза, нос. Её тошнит. Ещё и

потому, что муж, не стесняясь, подходит к Марго и щиплет её. От негодования, густо покраснев и брезгливо поджав губы, Софья Петровна скрывается в своей комнате, не дождавшись закипающего чайника. Вегство её сопровождается смехом Марго.

Бывший супруг, Семён Петрович, интеллигентный человек, так прежде думала о нём Софья Петровна, не в состоянии разменять небольшую двухкомнатную квартиру, и тем самым разрешить жилищный вопрос. Вот и приходится ютиться втроем. Правда, Софья Петровна даже рада этому. Он постоянно у неё на глазах и, несмотря на психологические неудобства, она всё же не теряет надежду, что у него откроются глаза, и он поймёт, что натворил, кого привёл в дом. Тем более, что официально он ещё остаётся её, Софьи Петровны, супругом. Прожив вместе с нею много лет, он всегда ценил уют и комфорт, поддерживаемый в доме. Правда, сейчас он соглашается или делает вид, что соглашается, с беспорядком, царящим в его жилище. Но это ничто по сравнению с тем хаосом, который рано или поздно, уверена Софья Петровна, проснётся в его душе. Это всё временно, в пинку ей. Показное, демонстрируемое им веселье, не может ввести её в заблуждение. Банальная интрижка. Романтизированная пошлость. Глупец. Большой, нашкодивший ребёнок.

Марго, естественно, моложе Софьи Петровны, хотя и она переступила непременный рубеж. Красива, но какой-то базарной красотой. Вся её суть, по мнению Софьи Петровны, написана на лице, лишённом песчаного намёка на интеллект. А одежда? Силосные кружева, рюши, и всегда тесный бюстгальтер, выталкивающий грудь на свободу... Одежда, достойная своей хозяйки. И голос... Противно-игривый, зазывающий в свои сети мужчин.

Семён Петрович, ещё поджарый и моложавый, вдруг, в какой-то момент ощутил, что жизнь пресна и неминуемо движется к эпилогу. А он так ничего и не познал в ней. Всегда стерильная чистота в доме, на завтрак неизменная овсянка и постоянно умильно-постное лицо жены. Женится когда-то не то чтобы без любви, но «в здравом уме и твердой памяти», не испытывая страстного влечения и заранее оценив плюсы и минусы предстоящего брака. Семья получилась удачной. Общие интересы способствовали духовному сближению. В физиологическом плане также не возникало проблем, возможно потому, что «интим» был редким, по расписанию, так лучше для здоровья, решили оба в самом начале совместной жизни. Работа с приличной зарплатой позволяла довольно нормально существовать. В их отношениях никогда не было решимости, возможно, потому что не было страсти. Он был воспитан, всегда подавая жене пальто и пропуская её вперед у дверей. Он не объ-

яснялся ей в любви, цветы дарил дважды в год, на день рождения и к восьмому марта, никогда не писал нежных писем. А их недолгие вечерние беседы скорее напоминали деловые. Что необходимо приобрести для дома, нуждается ли квартира в косметическом ремонте, ну и так далее, и тому подобное. Может быть, именно это устойчивое равновесие и вызывало в нём раздражение. Захотелось чего-то иного, яркого, пронзительного, пусть даже, как мимолётная боль...

Сложившуюся ситуацию оживлённо смакуют соседи: «У мужчин в таком возрасте это случается. Но чтобы в дом привести? Как вам это нравится? Это уж слишком!» Кто-то, сочувствуя Софье Петровне и жалея её, негодует: «Какой стыд. Непременно нужно разехаться». Кто-то откровенно потешается: «Не каждый же день подобное увидишь».

Софья Петровна в отчаянии. Она избегает встреч с людьми. Прислушивается к шагам и голосам в парадном, прежде чем выйти из квартиры. Но случайных столкновений не избежать и, втягивая голову в воротник пальто, она спешит мимо.

Текут недели, складываясь в месяцы. Ничего не происходит. Софья Петровна не ест, перестала спать. Уже давно никого не волнует, как, чем она питается. Она похудела. По ночам её мучают кошмары, от которых она приходит в ужас. Терзающие мысли о полном одиночестве, ожидающем впереди, не имеют конца. Она не может так существовать. Не может дышать.

Но жизнь – удивительная штука... Человек способен ко всему приспособиться... И Софья Петровна, привыкая, склоняется к примирению с Марго: «Ну что же, в самом деле? К чему утробы? Междометия?»

– Софа! – призывает её Марго по утрам, когда Семён Петрович отправляется на работу. – Хочешь кофе? Фатит дуться. У тебя до всего предвзятое отношение.

Поначалу, Софью Петровну передёргивает от «Софы», «Кофэ» и других перлов Марго, но она соглашается посидеть с соперницей. И теперь утро уже начинается с того самого, позабытого аромата... За кофе Марго распекает Софью Петровну за то, что та совсем не следит за собой: «Ты безжалостно к себе относишься, плохо питаешься. Мужик не собака, костями не накушается. Занимаешься какими-то потусторонними делами. Лучше сходи, шестимесячную сделай. Помады купи. Это же алиментарно. Ещё говоришь, что ты – аэлита. Прикупи себе чего-нибудь. Новенькое, весёленькое. А то ты вся, какая-то серая мышь русопятая». Марго развлекает законную жену «дешёвыми» анекдотами про «стриптизм», разными историями из жизни привокзального ресторана, где служила буфетчицей. С Софьей Петровной она держится вполне дружелюбно: «Чего нам делить, скажи?». Но и с некоторым пре-

выходством, демонстрируя свои пышные бедра и тяжелую грудь. Преходством румянца над бледностью, плоти над бесплотностью.

Иногда она даёт передышку от своей болтовни, и в голове у Софьи Петровны мелькает: «эпистоляр поник».

Раз в месяц она сообщает Софье Петровне:

– На собрание йду. Партийное. Взыосы снесу. Секретарка у нас предияя. От того, что у ней «заячий привкус».

День ото дня Софья Петровна оттаивает и даже оправдывает Марго: «Ну что с неё взять? Вокзальное воспитание. А язык? Ужас».

Постепенно она и с мужем начинает разговаривать, убеждая себя, что мужчины устроены как-то иначе, они полигамны. Утренние кофейные посиделки мирно перетекают в ужины на троих.

Попытки Софьи Петровны что-то приготовить заканчиваются катастрофой – овощи подгорают, жидкость вышлескивается из кастрюли, и заливают плитку.

– Не вмесишь – не лезь. Мой теперь через тебя. Чему тебя только мать учила? – отодвигает Софью Петровну Марго.

Глава семейства, придя с работы, сщё с порога втягивает носом запах, доносящийся из кухни, и радостно потирает руки. Куршые котлетки, отбивные... Бульон с домашней лапшичкой... Печёная картошечка... И десерт: клубничка со взбитыми сливками... Какой мужчина устоит? После многолетнего аскетизма – пиршество богов. Да, Марго знает, как и чем удержать мужчину. Он ест с жадностью и наслаждением. Сидящие напротив женщины с удовольствием наблюдают за каждым кусочком, исчезающим у него во рту.

– Семён, «репэтэ»? – спрашивает Софья Петровна.

– Ешь, ешь, Сёмушка! – поддакивает Марго.

Он сыт, но рука непроизвольно тянется к столбику блинчиков, горячих, промасленных.

Перед сном, втроём, они совершают вечерний «променад». И Семён Петрович заботливо поддерживает своих дам под руки. Провожая их взглядом, соседи просто не знают, что и думать. Мнения их, как всегда, расходятся. Одни твердят: «Тьфу! Позорище. Как же можно?» Другие снисходительны: «А может, и ничего? Всё лучше, чем одной».

Возвратившись с прогулки, обитатели квартиры расходятся по своим комнатам, желая друг другу сладких снов.

Софья Петровна, сидя на кровати, прислушиваясь к шорохам за стеной, гонит от себя дурные мысли. В глубине души она ещё не смирилась со своей участью: «Но надо над собой работать. А там, как Б-г даст...»

*(Глава 9-я из повести «Сёстры»; Главы 1-8 см. в Альманахах
«До и После», №№8-14)*

Неправда, что ночью – непроглядная тьма. По небу гулял молодой Месяц, и так и норовил, яркий и сильный, пробиться в комнату из-за неплотных штор. Ночной свет мягко стелился по комнате, оседая на подушках и лицах. Из кухни каждые полчаса подавала голос кукушка, слегка взрывая тишину.

Марьяна не спала, прислушиваясь к дыханию любимых мужчин. За день она так уставала, что, казалось бы, коснувшись постели, должна была моментально провалиться в сон. Но он бежал от неё – мысли, похожие на пытку страхом за самых близких, обгоняли друг друга.

Безумный год. Несчастный год. Счастливый. Всё перемешалось. Переплелось. Любовь. Сын. Мамин уход. Внезапный. Ушла во сне, шикого не обременив. Говорят, так уходят безгрешные люди. Да, конечно, она болела. Годами мучалась ногами. Но вполне молодая, до конца сохранившая ум и трезвость мышления. Почему? Марьяне не давало покоя гипертрофированное ощущение вины перед мамой. Что-то осталось недосказанным, невыполненным. То, что уже не исправить. Она корила себя, что последний год уделяла матери мало внимания из-за своей, с осложнениями протекавшей, беременности, что мама была предоставлена большей частью себе, а её жизнь со Светланой походила на бурлящий вулкан. За маминны переживания за неё же, по определению официальной медицины, позднородящую. Возможно, и за непосильную, доставленную радость от рождения единственного внука. Упрекала себя и в том, что стала косвенной причиной ухода от сестры Леонида, покинувшего дом сразу после Марьяны. Так уж сложилось. Без вины – виновна.

Видно, все эти события легли непосильным грузом, и мамин сердце не выдержало. Мысленно Марьяна просила прощения и за то, в чём даже себе боялась признаться – горе не могло заглушить радости, того, ни с чем не сравнимого, чувства счастья от появления в её жизни главного человека – сына.

Перед глазами разворачивалась белая плоскость родильной, где Марьяна видела себя, как бы со стороны, не имеющую сил на крик, с пересохшими губами умоляющую врача спасти её ребёнка, который в самый последний момент повернулся, и она услышала шёпот акушерки: «Поперечное». «Что это?! Господи, помоги! Зачем они стащили с неё эту измятую, взмокшую рубашку? И она пред ними, как первозданная». «Готовьте кесарево, срочно». – слова, долетевшие до сознания, словно из тумана. И

стена. Глухая, холодная. Которая в какой-то момент, вдруг распахнулась, и даже наркоз не смог заглушить еле уловимый писк – плач сына.

Эта картина являлась ей почти каждую ночь. Чтобы отогнать видение, она поднимается и подходит к детской кроватке: «Родной. Любимый». Ребёнок, словно почувствовав её близость, перестал посапывать, его дыхание едва ощущалось. Она прикоснулась ладонью к области его сердца, и оно гулко ответило: «Тук-тук». Пальцем тронула его губы, и сквозь сон прищмокнув, он попытался ухватить его и пососать.

– Что я делаю? – прошептала она и стала покачивать кроватку. Чувство любви, безмерной нежности, захлёстывало. Теперь она знала – счастье существует в самом деле. Сын занял главное место в её жизни.

Марьяна не сравнивала мужа со своей первой любовью. Она ни с кем не сравнивала его. Для неё он был особенным. Надёжным. Большим. «Ты – точно слон в посудной лавке», – смеялась она, цитируя кого-то из классиков. От его обаяния в комнате становилось тесно уже через несколько минут общения с ним. Как удивительно он умел рассказывать. Как она умела слушать. И тоже рассказывать. Никогда прежде не замечавшая за собой этой особенности, с ним говорила обо всём. Он стал единственным, с кем она смогла быть откровенной до конца. Он будто «развязал» её язык. Казалось, не хватит вечности, чтобы рассказать друг другу обо всём. Марьяна не сожалела, что у неё не было классической свадьбы – когда выходила замуж (процедура Сашиного развода всё же затянулась), была, как говорится на «сносях». Поздравить молодожёнов собрались самые близкие – был простой, субботний обед, совпавший с праздником Пасхи.

– Не спала? – Саша тронул её, уснувшую на коврике у кровати сына.

– Немного. Знаешь, он проспал почти всю ночь. Я даже не кормила.

– Приляг. Я всё сделаю сам, ты отдохни. Вечером на английский.

– Саш! Не хочу на английский. И в Америку не хочу.

– Надо, детка! Только вдумайся: «Гражданин мира». Как тебе? Выбери: перспектива или... – жестом он указал на окно.

– Саш! Ты не задумывался, ведь главное путешествие происходит в душе, и совершенно неважно, где находишься на самом деле? Я не хочу выбирать. Не умею. Я – «совок». Хочу, чтобы «это» исчезло. Понимаешь?

– Понимаю. Метания, искания... Это не рассосётся. Никогда.

– Ну, пот. Снова давишь на меня... Мне хочется побольше быть с Женькой, с тобой, а ты: «английский, английский». Ты же видишь – я стараюсь.

– Любимая! Меньше текста. Спать. Потом покормишь, и «вперёд».

Марьяна была в декретном отпуске. Спешка и суета изматывали – времени панически не хватало, а стрелки часов превращались в хлыст. Она разрывалась между уходом за сыном, домом, английскими курсами и желанием добиться во всём совершенства. Как бы ни была занята, сын, муж в этом списке были впереди. Может быть, сын чуть-чуть потеснил отца. Самую малость.

Конфузным было так думать, но даже тут Шарлотта Максовна помогла ей, своим уходом высвободив время, которое иногда она уделяла маме. Марьяна отчётливо помнила один из их последних разговоров. Мама нервничала: «Девочка моя! Ты очень осунулась. У тебя измученный вид. А ещё и ко мне прибегаешь. Не нужно. Нет такой необходимости. Позвони последний раз – поболтаем. У тебя ведь столько забот. – И тут же, безо всякого перехода, она сокрушалась о Свете. – Видишь, что творится? Сама, сама разрушила свою жизнь. Он не звонит. Не пишет. Там нет почты? Тайга? Лыды? – Шарлотта Максовна имела в виду Леонида, уехавшего работать на Север. – Я понимаю, она виновата во всём. Но здесь его дети. У меня сердце рвётся на части. Всё же, она – моя дочь. Несостоявшаяся жизнь. Несостоявшаяся... Из-за его отъезда она и на свадьбу-то твою не пришла. Уж прости её. За всё». – «Мамочка, она в любом случае не пришла бы. Ты же знаешь. И потом... Никакой свадьбы не было». – «Знаю, дорогая. Но, всё-таки, будь с ней помягче». – «Мама! Ты не должна просить. Поверь, мне её жаль». – «Знаешь, – вдруг зашептала Шарлотта Максовна. – Я недавно услышала её разговор с кем-то по телефону. Она думала, что я сплю. Я не подслушивала, понимаешь? Так получилось. Юлинька... Оказывается, она не его дочь! Я была так потрясена, что ни о чём не стала её расспрашивать. Был бы очередной скандал». – «О!? – Губы Марьяны вытянулись в овал». – Боже, милостивый! И столько лет скрывала?» – «И хорошо, что скрывала. Да если бы он узнал, убил бы. Или раньше сбежал. Ужас. Но, никому ни слова. Ни ей, ни Саше. Вида не подавай, что знаешь. А Юлиньку мы не станем любить меньше. Знаешь ли, оказывается, он уехал не один. С женщиной. Что ж, вполне ожидаемое событие. – Шарлотта Максовна вытерла набежавшие слёзы. – А как Саша? Он хороший муж?» – «Чудесный. Я счастлива. Не верю, что всё это происходит со мной». – «В-г услышал мои молитвы, послал тебе хорошего человека». – «В-г? Банальная автобусная остановка». – «Знаешь, дорогая! – Шарлотта Максовна замялась... – Я давно хотела сказать... Ваше знакомство... Это как-то не совсем интеллигентно... Ладно, ладно, молчу. А что его родные? Как они с тобой? Скажи, они по пятницам зажигают свечи? Серьёзно? Ну, не знаю... У нас, как-то, это не было принято. Кстати... Я

испомнила, – рассмеялась Шарлотта Максовна. – Во время свадебного обеда Сашина тётя доставала кусочки хлеба из-под стола и украдкой жвала в рот. Пасха же была... Вот тебе и религиозные... Ха-ха... Как такое возможно? А как Сашин сын? Бывает у вас? Ладите? – «Мамочка! Юра корректный молодой человек, но закрыт для общения. Для него, и – жена его отца. Это вполне справедливо. Пытаюсь его понимать, но главное – не я являюсь причиной развода с его матерью. Он знает об этом. Хотя, безусловно, сложно. Нужно время, чтобы всё устоялось». – «Устаканилось, да? Вот и Алешка успокаивает... «Не волнуйся, бабуля. Всё устаканится...» Это о матери-то с отцом... Как же... Ничего не устаканится. А Юра действительно способный? Или Саша преувеличивает, как все родители? – «Нисколько. Даже, преуменьшает. Мальчик побеждал на олимпиадах. Не зря же золотую медаль получил. Впрочем, это уже не имеет значения. Он же не будет здесь поступать. Они скоро уезжают. Недавно из Москвы вернулись после последнего интервью. Представляешь? Лена, Сашина первая... Наставляет, чтобы мы потом к ним, в Лос-Анжелес приехали. Как тебе это? Смешно? Нет, уж... Если и решусь, то только к Стёпе, в Цинциннатти... Хотя одна родная душа будет». – «Марьяшенька, а что же с мамин-то документами? Саша занимается ими? – «Конечно. Осталось ещё несколько справок, и будем подавать. Знаешь, так странно. Успокаиваю себя тем, что всё это длится год, полтора. Возможно, я привыкну к мысли об отъезде». – «Не волнуйся, дорогая! Всё у тебя будет хорошо. Вот увидишь. Я б-га прошу», – и Шарлотта Максовна трижды постучала себя по лбу...

– Мамочка! Как же мне тебя не хватает, – думала Марьяна. После случившегося, она лишь раз заходила домой взять на память что-то из маминих вещей. Со Светой они не виделись.

Разрыв с мужем Света пережила болезненно. Ни о какой любви с её стороны и речи не было, но сам факт... Теперь она готова была привести в дом любого подвернувшегося мужчину. Нет, не любого... Чтобы не хуже, чем у Марьяны.

Задолго до маминного ухода, узнав о Сашиних намерениях по поводу Америки, она ничуть не расстроилась от возможного отъезда сестры: «Баба в возу...» Правда, её напрягло желание матери уехать с сестрой: «Ах, вот как! Ну, что же. Посажай. Там вас всех только и не хватало. А что? Ты же всегда любила её больше, чем меня. Вот папа... Он меня любил. И понимал. И учтите: никаких отступных за квартиру не получите. Да у меня и денег-то нет». Когда Шарлотта Максовна успокоила её, что Марьяна ни на что не претендует, Света успокоилась, но поразмыслив, испугалась: «Как же она останется одна с детьми-то? Квартира, квартирой... А пенсия? Жить-то на что? И с ещё большим

упорством стала возражать. Запугивала мать неизбежными трудностями, связанными с отъездом: «О чём ты только думаешь? Хотя бы иногда включай мозги. Тут и лекарства, и врачи... А там? С твоим здоровьем, и за океан? Совсем слурела на старости лет». На мамнины надежды, что возможно, и она, Света, вместе с детьми потом к ним придет, срывалась на крик: «Я? К ней? К ней приеду? Когда я говорю, что ты мне мачеха, то я права не на девяносто девять, а на все сто процентов. Ну и катитесь! Если бы вы только знали, как осточертели мне».

Мамнин уход она расценивала, как предательство. Он вызвал в ней лишь гнев: «Нашла время, мамулочка! Оставила без всяких средств. Всё сделала для того, чтобы побольнее ударить».

Оставшись без поддержки, Света растерялась: ни профессии, ни работы у неё не было. От мужа – ни весточки. Она даже не знала, как обратиться в суд, чтобы подать заявление на алименты. В итоге, она впала в транс: «Все бросили. Забыли. Предали». Чтобы ни о чём не думать, стала пить. Жизнь начинала казаться не такой гнусной, в ней даже проскальзывали обнадеживающие нотки: «А муженёк-то был не такой уж дуралей. Знал толк в wine. Знал, как забыться, скотина. Подумать только, чего натворила когда-то – отбила у сестрички этого идюта. Вот бы посмотреть сейчас на них: сидели бы себе вдвоём и ловили свой кайф. Так нет же... Курница эта безмозглая отхватила кого надо. И кандидат. И машина у него. И статейки там всякие кропают. А минит о себе... Смотрит свысока, ши-еса-тель... И сестричка-то не дура. Скоро тридцать три, а она – раз, и родила. А всё стюсюкала: «Алюшка, Алюшка». Как была выскочкой, так ею и осталась. Хорошо ещё, что хоть из квартиры убралась... Святая она нани!»

Целыми днями Света спала, забросив дочерей, которые свободное от школы время проводили либо на улице, либо у Марьяны. Когда все имеющиеся в доме деньги иссякли, Света прибегла к продаже вещей. Но вскоре и продавать было нечего. Пришлось искать работу. Выбор был ограничен, после недолгих усилий она устроилась приёмщицей в химчистку, куда многие годы сдавала вещи. Вначале она даже ощутила некое подобие гордости: впервые зарабатывала деньги. Вечерами бродила по пустой квартире, заходила в мамнину комнату, на неё накатывала тоска, и всё заканчивалось рыданиями: «За что? Сговорились между собой. Решительно, сговорились. Хотят свести её с ума. И сестричка. И муженёк. И собственные деточки – всё к тётке ускользнуть норовят. С братиком поиграть. Не дождётесь вы все... Не свести вам меня с ума... Не надейтесь. Выживу».

Её восприятие действительности превращалось в абсурд – не хотела принимать такую реальность. Когда дочерей не бывало рядом.

она страдала, обвиняя и их в страшной измене. Когда же они были дома, ей не хватало терпения слышать их беспечный смех: «Голова от нас раскалывается. Ступайте на улицу!» Всё вызывало в ней раздражение, угнетало. То единственное, к чему всю свою жизнь она ощущала вкус, обновки, были теперь ей недоступны. Ничто не приносило покоя и радости. Пожалуй, одно, что могло бы доставить удовольствие: «Чтобы сестричка никуда не уехала... Или, чтобы её умилик ушёл в другой... О! Как приятно было предаваться этим мечтам... Как приятно было бы узнать о подобном ревизии. Это мысли согревали, давая некоторое облегчение совсем распатавшейся нервной системе, возвращали к обычному её душевному состоянию, когда она чувствовала, как внутри поднимается холодная, восхитительная ярость.

ПОД ЗНАКОМ -СЫНА-

(Глава 10-я из повести «Сёстры»)

Наступившее материнство, всепоглощающее и подчинившее всю без остатка, было вне времени. Было вечным. Всё самое главное в жизни происходило здесь и сейчас. Сын, тяжело пришедший в этот мир, доставивший физические страдания по мере взросления в утробе, своим рождением уничтожил негативные воспоминания, превратив жизнь в сплошное счастье. Она отчётливо помнила, будто не было паркоза, как он заикался, заговорил. «Здравствуй, мама! – прокричал он тогда. – Я пришёл».

Сверх ожиданий, он родился без патологий. Такой плотненький, упругий. Голос подавал лишь, когда хотел есть, не тратя «лишних слов». Был спокойным, обстоятельным. Прежде, чем приступить к еде, он внимательно смотрел Марьяне в глаза, словно убеждаясь, что она не обманет. Поглощение пищи – таинство, и должно было происходить между ним и матерью «тет-а-тет». Сердито хрюкая, он выплёвывал грудь и оглядывался, когда чувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Неважно, кто, отец ли, двоюродные сёстры. Вдоволь наевшись и отвалившись на бок, засыпал с улыбкой на лице до следующего кормления.

– Родненький, маленький. Самый красивый мальчик на земле.

Марьяна не могла оторвать глаз от сына. В ней проснулась невиданная материнская страсть, какая-то невыносимая нежность. – Ну не спи. Взгляни на маму, солнышко.

Она обожала его, придумывала ему всевозможные ласкательные прозвища: «любимусярский, мамусярский, мамульчиневский»...

Конечно, очень уставала. Но это была радостная усталость. Ни на чью помощь рассчитывать Марьяна не могла. Мамы не было, родители Саша были старыми и больными. Мужа оберегала и, что называется, «крутилась». Но такова была природа этой женщины, не терпящей ни в чём какой-либо незавершённости. По сути, она была максималисткой – всё должно было быть по высшему классу. Зайдя к ним в дом, невозможно было догадаться, что в квартире подрастает грудной ребёнок: отсутствовала смесь того специфического, устоявшегося кисло-молочного запаха грудного молока и вывариваемых пелёнок. И только Женин голос: «хочу есть», напоминал о его присутствии. В любую погоду она гуляла с сыном, шла в сквер возле дома. Пока Женя спал, занималась английским. Иногда вывязывала ему очередную кофточку или пинетки. На обратном пути заходила с сыном в магазин купить продукты. Лифта у них не было, ей приходилось самой поднимать коляску с сыном на третий этаж. Да, ломило спину, болели ноги, но ничто не могло отменить прогулку на свежем воздухе. По выходным эти обязанности доставались Саше. Купив продукты, он гулял с сыном. Марьяна, оставаясь дома, вместо отдыха делала то, что всегда откладывалось на конец недели. Саша ворчал, что она опять не отдохнула, объяснял, что усталость накапливается, что организму нужно расслабляться. А она, слабо улыбаясь, отшучивалась и была счастлива, что хотя бы в выходные дни может накормить мужа вкусным обедом, что жилище их, несмотря на тесноту, уютно и вымыто до блеска.

После обеда, незадолго до следующего кормления, она будила Женю, включала тихую музыку и играла с ним. Рассказывала ему разные сказки, как будто он понимал. Потом принималась за гимнастику:

– Любимочка, еду нужно заработать. Так, расслабься, – она поглаживала его лёгкими движениями. – Не болит у нас животик? Не болит. Так. Ручки вверх, ножки к себе. Приятно, правда, зайчика? Ах, ты умница! Всё, оказывается, понимаешь. Ты сообразительный мальчик. Ну... Теперь, на бочок. Вот. Не бойся, глупенький. Мама сделает тебе массаж. Какая у нас бархатная спинка, какие розовые пяточки. Моё солнышко, – она без конца целовала и нежила его. Он крихтел и улыбался – ему было приятно.

Саша наблюдал за подобными сценами скептически:

– Любимая, ты разбалуеть его. Он, всё-таки, будущий мужчина.

– Ну, и что? – возражала Марьяна. – Нежность ещё никому не навредила. Какой строгий папа! Да, ласточка? Вот зададим ему сейчас трёпки. – Взяв сына на руки, она приближалась к мужу и, прильнув, щекотала его. Саша отбивался, все троём они валились на диван, который сотрясался от их общего хохота.

Света не звонила. Во время редких телефонных разговоров, звонила обычно Марьяна, Света упрёкала её:

— И где же твоя пресловутая преданность? Забыла о своих племянниках?

Возражения сестры, что девочки бывают у неё, в расчёт не принимались. Света не прощала свою неудавшуюся жизнь и искала любые лазейки для ссор:

— Твой ребёнок – твоя проблема. Пусть он чаще подменяет тебя, имея в виду Сашу, говорила она. – Это, кажется, и его ребёнок? Я не путаю? Не убудет от него. Подумаешь, одной «гениальной» статьёй меньше... Мир не страдает, уверяю тебя.

Нужно было обладать Марьянинным терпением, чтобы не нагрубить. Хотя, более чем тридцатитрёхлетний иммунитет такую терпимость выработал. Иногда, догадываясь по ответам жены о предмете разговора, Саша говорил:

— Какая, всё-таки, очаровательная гадина, твоя сестра.

— Саша! Прошу тебя. Она, всё-таки, мне сестра.

— Но, ка-ка-я! – смеялся он.

Даже Римма, уж на что ко всему равнодушная, звонила иногда по междугороднему. Поздравив Марьяну с рождением сына, прислала подарок. Света полугодовалого племянника не видела. И особым желанием не горела.

Шёл 1980 год. Декретный отпуск закончился. О возвращении на работу можно было и не мечтать. Маячивший впереди отъезд, о котором Марьяна старалась не думать, заставил задуматься – она уволилась. После подачи документов в ОВИР, и Саше в его институте предложили подать заявление. Только оба они оказались безработными, грянул «гром». В письме, полученном ими, говорилось о том, что им не следует ожидать вызова на интервью в посольство США до особого решения компетентных органов. Как и сотни других, они попали в группу, именуемую новым словом русского словаря – «отказники».

Несмотря на отчаяние, поначалу охватившее Сашу, он был счастлив – старший сын с бывшей женой успели выехать. Только они покинули Родину, как Родина «заботливо» захлопнула дверь перед другими потенциальными «отъезжающими».

Марьяна восприняла эту новость с некоторым облегчением: «никуда не придётся уезжать». Но волновалась за Сашу – он очень переживал. Отдавая себе отчёт в создавшейся ситуации, он понимал – впереди ожидают тяжёлые испытания, отступать перед которыми он не собирался. Не позволит расслабиться и Марьяне:

— Ты пойми, в любой момент всё может измениться. И мы должны

быть готовы к этому. Никаких пауз в английском. Возможно, я чего-то и не понимаю... Ну, например, что нельзя у женщины отнимать её заблуждения, что она должна пережить их сама. Но я не оставлю тебя наедине с твоими заблуждениями, дорогая. Несмотря на перекрытый кислород, я не дам нашей жизни превратиться в сказку о потерянном времени. Как сказал великий вождь, мы пойдём другим путём. Вот такой я не любитель всё упрощать.

Он напел знакомую мелодию, исполняемую группой «Наутилус Помпилиус»:

– Gud bei Amerika, a-a-a...

Потом добавил.

– Нет, дорогая! Я верю. Мы ещё услышим: «Welcome to Amerika». Непременно услышим. Я обещаю.



Ася Процко-Вайсберг

Киевлянка. В Берлине с 1993 года. Автор устных рассказов. Публикации в альманахе «До и после» и периодике.

KINDER-PAPIR (ПИСЬМА)

Девяностые годы. Киев. Печерск. Первомайский сад.

Тёплым августовским вечером мы с мужем отдыхали на скамье у фонтана. Сквозь занавес фонтанных брызг проглядывался силуэт Марининский дворец, – шедевр великого Растрелли. С эстрады доносились чарующие звуки «Шехерезады» Римского-Корсакова. Возле нас сидела уже немолодая дама, которая доверительно стала рассказывать свою историю.

– Вот, дети уехали, внуков забрали. Я осталась одна во всей квартире. По несколько раз в день проверяю почтовый ящик, но письма приходят редко.

Дама вздохнула. Достала из сумочки тонкую пачку писем, говори, гладила их, повторяя: «Мои киндер-папир».

Я попыталась приободрить её. Дама встрепенулась.

– Нет, нет! У меня очень хорошие дети. Дочь каждую неделю звонит. Когда я слышу родные голоса, только плачу и не могу вспомнить, о чём я хотела спросить, лишь прошу, чтобы писали мне.

Концерт окончился. Мы попрощались...

После многолетней работы в Средней Азии, возвратились в Киев. Мы были рады родному городу. И не могли даже представить себе, что придёт время, когда придётся уезжать. Наши пенсии давали возможность распоряжаться своим временем по собственному усмотрению: совершали круизы по Волге и Днестру, лето проводили на даче в пригороде. Но, увы, взорвался Чернобыль, радиация взяла нас в свои когти, словно невидимый враг, таящийся за спинами.

С горечью читаем объявления на столбах и стенах домов: «Меняем трёхкомнатную квартиру на любую в любом городе планеты. Киев и Нагасаки не предлагать».

Вскоре развалился Советский Союз. Мы оказались в республике Украина, а дети – в республике Казахстан – в Ближнем зарубежье. Объединиться с ними не было никакой возможности. Собственно, с Дальним зарубежьем было намного проще.

Колесо истории на полной скорости понесло нас в неизвестность.

Документы, очереди в посольство Германии, получение виз, и прощая, предотъездная суета... Но как поступить с имуществом? Да просто: книги к букинистам, посуду и милые сердцу и памяти вещи – в комиссионку, мебель, электроприборы либо дарили, либо продавали за бесценок. Остались дорогие письма, что с ними, как поступать? За тридцать лет жизни их собралась масса. Полные ящики письменного стола, в шкафах, в коробах, перевязанные пачки по датам получения. Решаем сжечь. Набив ими рюкзаки и сумки отправляемся в пригород, на дачу к друзьям. Был тихий осенний день. Сад встретил нас умиротворённо. Разожгли печурку, швырнули в огонь первую пачку. Но огонь лишь лизнул своим языком кромку лёгкой добычи, промчался по периметру плотного пакета, и грустно погас. Письма гореть не желали. Мы шевелили их, шептали просьбу к огню. Но безуспешно. Пришлось бросать по одному письму читая адреса на конвертах.

– Ташкент.

– До или после землетрясения?

– После, когда музей Ленина строили.

– Фрунзе, когда там заваруха была.

– А вот, из Ферганы. Когда доченька в первый класс пошла.

Читаем вслух знакомые адреса: Кызыл-Арват, Актюбинск, Иссык-Куль и Алма-Ата. Этих писем поменьше, появился домашний телефон.

Осенний день утихал к закату. Мы стали машинально, без остановки, заканчивать расправу над письмами. И вдруг, рука отпрянула от печурки. Разжимаю пальцы, выравниваю двойной тетрадный лист и вижу: цветными карандашами нарисован человечек, с головы которого свисают сиятельные косички с бантиками на концах, ножки прикрыты юбочкой в клеточку. Надпись большими печатными буквами: «Ета Лисючка». Далее ещё один человечек: волосики ёжиком, ножки в штанишках тоже в клеточку. В руке пистолетик-пугач. Надпись: «Ета Вова с пистолетом». Моя рука не смогла бросить в огонь первое в жизни письмо внуков к бабушке.

. . .

Мы сжигали историю своей жизни в письмах, не сознавая, что вскоре вообще окончится эпистолярный жанр. А тогда, осенью 1992 года, мы с друзьями в последний раз собрались за столом, ели бутерброды, пили домашнюю наливку из черноплодной рябины, запивали чаем, настоянным на листьях малины, крыжовника и ромашки, лакомилась повидлом из ранних сортов яблок, вспоминали обо всём, что случалось в жизни.

Сейчас, вернувшись к истории с письмами, шепчу запавшие в память стихи знакомого поэта Льва Шейсера:

Тихие письма, заветные письма,
Сколько в вас жизни,
Сколько в вас боли,
Вас сохранить не хватило нам воли...



Сергей Пышный

Родился 01-06-1951 года в Ленинграде.

В Берлине с 1986 года.

Публикация в альманахе «До и после» №14.

КОЛЬКА

Колька Михалук – худощавый и жилистый хлопец 30-ти лет от роду, из небольшого поселка в Западной Украине под Львовом. До оккупации Советами в 1939 году жизнь у него была неплохая. Работал он слесарем на пивном заводе и подрабатывал, где и как мог. В целом выходило неплохо, и жена у него была дородная, украинка, и двое детишек: мальчик и девочка. Вечерами бывал Колька дома редко, а предпочитал свободное время проводить с друзьями в кабачке, где хозяином был еврей Моисей Соломонович. Самой любимой темой приятелей была политика. А политику они понимали так – если освободиться от еврейского засилья и от других инородцев, то жизнь будет, как в раю, и расцветет Великая Украина.

Однако предчувствие войны висело в воздухе. Народ был наслышан о еврейских комиссарах в кожанках, о карательных отрядах, зверствовавших в Восточной Украине, о голоде. Понятно, что страх населения имел все основания. От этого национализм и антисемитизм усиливались. Во время кабацких дискуссий Колькин голос особенно выделялся, он во всех бедах обвинял евреев. Хозяин кабака, Марк Соломонович, в их полемику не вмешивался – не трогают, платят, ну и пусть болтают что хотят. Однажды Колька договорился до того, что евреев как народа нет, а 200 лет назад одна банда назвала себя евреями и существует до сих пор, принимая в свои ряды всяких жуликов и бандитов. Это рассказал ему на базаре один мужик, которому Колька продал пару курин. Тут Соломонович не выдержал и впервые вмешался.

Ты, говорит, Колька, жидов во всем обвиняешь, а вот твоя бабка по матери жидовкой была, хотя и крещёной. – «Да что ты мелешь. – возмущился Колька. – Знаю, что говорю» – ответил старик. Хлопцы заходатали, а Колька смутился. Он не знал бабу по матери, да и мать не помнил. Она умерла, когда Кольке было три года. Знал он от отца, что она в церковь ходила. А тут Петро Кнут возьми и ляпни: «А коли так, так значит ты Колька – жид. У них это по матери считается». «Да или ты» – выругался Колька. «Да нет, это, так – не отставал Петро – Ты поп Соломоныча спроси. Верно говорю, Соломоныч?». «Верно», – ответил старик, и стал бутылки протирать. Друзья хохотали до слёз. И чем больше доказывал Колька, что этого быть не может, тем больше приятели хохотали и подшучивали над ним, дразня жидом. «Ну, я вам докажу что всё это бред!» – твердил Колька.

На другой день пошел Колька к местному священнику: «Найди, попросил он, – как звали мою бабу по матери. Тут сказали, что она жидовка, хотя и крещёной была». Тут поп говорит: «Коли она крещёной была, так значит не жидовка. А коли не крещёной, так её у меня нет. Незачем в книгах рыться. Некогда мне» – «Ну найди, – настаивал Колька, – я тебя отблагодарю». «Ну ладно, – уступил поп, – найду и собою тебе сам». На том и расстались. Ждал, ждал Колька, так поп и не пришёл. Тогда посоветовали друзья в синагогу съездить и у раввина спросить. Поехал в субботу Колька к раввину, но и тот не помог. Даже говорить не захотел и сказал лишь: «Раз бабка твоя крещёной была, значит, для нас она вообще не еврейка и ничего про неё здесь быть не может».

Вернулся Колька в поселок и сразу к друзьям в кабак пошёл посоветоваться, что делать дальше. А им только смешно, и кличка «Колька-жид» прилипала к нему всё крепче. Так и начали про него говорить. «Это какой Колька? Жид который? Да вон там живет»... Ничего не подделася – пришлось Кольке жить с этим прозвищем. Постепенно даже вроде и привык. Только к друзьям в кабак ходить стал реже. Неловко себя чувствовал, да и они как-то сникали при нём и евреев не ругали.

Так и перестал Колька в кабаке появляться, а всё больше в семье был.

А в 39-м году оккупировали Советы Западную Украину. Вскоре начались аресты. Многих приятелей Кольки по кабачку, а заодно и Соломоныча арестовали как националистов и сослали. Колька очень боялся, но время шло и его не трогали. Может, спасло то, что не ходил последнее время в этот кабак о политике да о жидках рассуждать. Но работу он потерял. Хозяина пивзавода сослали, и завод закрылся. Многие мастерские ликвидировали, и с работой стало плохо. Перебивался Колька случайными заработками.

Потому и вздохнули облегчённо жители поселка, когда немцы пришли. При них хозяйство оживилось, заводики и мастерские налаживали работу, закрытые церкви открыли.

Немцы назначили управляющих, полицасов из местных, и дали возможность жителям самим решать свои проблемы.

Как-то вечером, в пятницу, в конце августа 1941-го немцы перекрыли дороги из посёлка и пошли с полицаями из местных по домам, где жили евреи. Евреев забирали семьями, с детьми. В этот же вечер забрали и Кольку. Привел немцев один полицай, которого Колька знал лишь в лицо. Хорошо ещё, что жена с детьми уехала накануне к матери в деревню помогать убирать картошку. Колька не понял в чём дело. «Может, украл кто чего, а на меня показали, – подумал он, – разберутся». Кольку с сирями погрузили на грузовик и увезли. Сказали на земляные работы. А через пару недель дошли слухи, что евреев увозят, расстреливают и никто не возвращается. Не вернулся и Колька.

Тёплыми осенними вечерами, когда Колькины соседи собирались у кого-то во дворе попеть, поболтать, иногда вспоминали Кольку. Одни говорили: «А неплохой хлопец Колька был. Считалось что он вроде как жид, а может жидом он и не был». А другие говорили: «А кто его знает, а может и был».

Любовь Рейнгац

Родилась в Запорожье. Училась и жила в Москве.
(1999) г. – в Берлине. Публикации в журналах и альманахах
разных стран. Книги стихов «Бежало полотно» и
«С чистого листа», Подборки стихов в альманахе
«До и после» №№ 8–14, участница берлинского сборника
«Бергские мотивы».



К 70-летию начала Великой
Отечественной войны

* * *

Уходили юнцы угловатые,
Сапогами большими стуча.
Волочились шинели за пятami,
Явно были с чужого плеча.
На перронах толпой провожатые,
Плач, оркестры, невесты, печаль.
Паровозы гудками хрипатыми
Заглушали: Вернусь! Не «прощай!»
Уносились вагоны с ребятами
В бой, в увечья, в «сестричка, врача!»
Стыли хлеба куски поздраватые,
Оставался недопитый чай.
...Ликовала весна сорок пятого:
«Я живой, я вернулся, встречай!»
Возвращала вагоны с солдатами
В отвоеванный край
В забалованный рай
В зацелованный май!

ДО И ПОСЛЕ войны и войны

* * *

«Счастья, радости, деток, здоровья,
Долгих лет вам, живите в ладу.»
Это было всё – до. Предисловьем.
А на завтра: «Дождись. Я приду.»
Чёрной цепью снуют в изголовье
Муравьи, чуя запах, еду.
Аккуратная дырка над бровью.
Он погиб в сорок первом году.

* * *

Под Волоколамском
Судьбой был обласкан,
Спасла тебя каска
От взрыва фугаски.
Бой под Сталинградом...
Ты вышел из ада.
А дальше – засада...
А дальше – ограда...
Лежишь в общей братской...
Поблекшая краска...
Анютини глазки...
Защитная каска...

* * *

Чем больше лет и край видней,
Тем ближе даль тех страшных дней.
Огонь зенитных батарей,
Разрывы мин левой, правой.
И в святцах имена друзей:
Ахмет, Илья, Степан, Андрей...
И ноют, ранят всё больней
Осколки в памяти моей.

* * *

Как отдавали мы Кавказ,
Как отступали мы в Крыму.

Я вижу всё и посе́йчас,
И всех, кто был со мной в дыму.

И как с небес летел фугас,
Торпедой разнесло корму,
Я вижу всё и посе́йчас,
Крича в полуночную тьму.

И как месили брюхом грязь,
Молясь, неведомо кому.
Я вижу всё и посе́йчас,
И это не понять уму.

Как шли в атаку, матерясь:
За Сталинград! За Кострому!
Я вижу всё и посе́йчас,
Себе не веря самому.

В который раз, в который раз...
Не пожелаю никому
Я вижу всё и посе́йчас,
Но как я выжил – не пойму.

* * *

Крематорий. Шепчут Тору,
Жертвы: выработка, шлак...
Шутки, смех и разговоры;
Пишут что-то в дневниках.

Ток пропущен над забором,
Воздух жженьем тел пропах.
Зубы, волосы – тьма, горы...
Вымер, опустел барак.

Лай овчарок вьелся в поры,
А в небесных куполах
Переходы, переборы...
Звучит «Месса». Автор – Бах.

* * *

Ход и ритм отлажены.
Чист плац, незагаженный.
Влит мундир отглаженный.
Касса : дебет , ажно...
Рвы вглубь на три сажени,
Дым валит из скважины,
Горят люди заживо.
«Вальс» сменил «Адажио».

* * *

Трудные годы были.
Землю руками рыли.
Потом потом кропили.
Вынесли. Победили.

Трудные годы были.
Печь кизяком топили.
Соль кулаком дробили.
Вынесли. Победили.

Трудные годы были.
Хатку отгородили.
Чарочку накатили.
Вынесли. Победили.

Трудные годы были.
Деточек народили-
Внуками наградили.
Вынесли. Победили.

Трудные годы были.
Вынесли. Победили.
Если бы да кабы ли...
В сорок втором убили...

Мальчик. Гарь выстрелов.
Кто его выставил?
Смотрит насупленно из-под бровей.

Строго, без визга, он
Близких разыскивал.
Молча просил: «Ты меня не убей.»

Пот градом выступил,
Соль из глаз брызнула.
Вдруг из пехоты, «царицы полей»,

Прыг – споровисто и
Мальчика стиснул: «Да
Мой пострелёнок такой же, сй-ей!»

Тишь вдруг повисла в миг,
Дело всё с числами:
Год сорок пятый. К концу шёл апрель.

Смолкли все выстрелы,
Кто-то насвистывал.
Мальчик – солдат: голова к голове.

* * *

С утра шумит взволнованный прибой.
Рядами плиты, плиты... Слева, справа.
Склонились лапы ели голубой,
Венки, цветы, оркестр играет grave.

Лежит боец, прижав ружьё рукой.
Глаза открыты, вдавлена оправа.
Плывёт земля расплавленной рекой.
И не узнать состава её сплава.

«За Родину! В атаку, братцы, в бой!»-
И мчатся за составами составы

В разрывы, грохот, канонаду, вой,
К основе, к тверди, не к Аллее Славы.

«Взять высоту! Ответишь головой!»
«...Посмертно наградить за переправу.»
Четыре года на передовой...
Одесса, Бельцы, Бухарест. Острова...

В Берлине май. Цвет неба голубой.
Венки, цветы на плитах- слева, справа.
Печаль на лицах. Зазвучал гобой.
И подхватил оркестр tutti grave.

* * *

...И, наконец, расшилась тьма,
И в щепы разнеслась тюрьма,
И наконец открылся рай,
И счастье било через край.
Ласкала солнца бахрома
Сирень, сошедшую с ума.
Разнузданно звенел трамвай,
И все пьянели: Паливай!
Был месяц май.

Людмила Тайц

*Родилась в Ульяновске. В Берлине с 2003 года.
Публиковалась в газете «Градостроитель»
(Москва – Волгоград). Сборник стихов.*



ЯПОНСКИЙ ГОРОСКОП

Японской выдумке поверив,
Что годы наши – будто звери,
И став сторонником той моды,
Я жил по ней все эти годы:

В Год Кролика – всего боялся,
В Змеинный – ползал, извивался,
В Год Обезьяны – безобразил
И ловко по деревьям лазил,

В Овечий – блеял или мекал,
В Год Петушинный – кукарекал,
В Год Крысы – что б стянуть искал,
И только в Год Вола – нахал,

В Год Лошади – скакал, лягался,
В Собачный – лаял и кусался,
В Кабаный – землю носом рыл
Среди других кабаньих рыл,

В Драконий Год – огнём горел,
В Год Тигра – вовсе озверел...

Ах – Змеи, Тигры, Петухи –
Так много всякой чепухи,
А мы всё верим каждый год,
Что жизни нам предсказан ход.

Не звери мы! Пора понять
И наконец-то разорвать
Годов звериных круг извечный,
Свой Год назначив – Человечий!

Татьяна Устинская

*Родилась в Москве. В Берлине с 1996 года Публикации
в альманахах «До и после» №№ 10, 11, 13*



УТРЕННИЙ МОНОЛОГ

Проходит жизнь, уносят годы
любовь и призрачное счастье.
Не переделаешь природу,
увы, не в нашей это власти.
И лет тебе давно не двадцать,
и нет уже былых желаний,
зачем над телом издеваться, –
зарядку делать утром ранним?

По воле прихоти минутной
спешить куда-то бесконечно.
Под одеялом ведь уютней, –
лежи и думай – скоро вечер.
Ведь были планы и идеи
на день грядущий и на завтра.
Осуществить их не сумею,
нет прежнего теперь азарта.

Но страшно выскочить из круга
дел и забот, вполне привычных,
и жизнь уже загнала в угол,
решенья нет проблемам личным.

ДО И ПОСЛЕ поэзия и проза

Не напрягайся, не печалься,
чтоб Богом данный день не лопнул.
И если рвут тебя на части,
ты дверь своей души захлопни.

ОПТИМИСТ И ПЕССИМИСТ

(шуточная баллада)

Сколько будет дважды два?
Пессимист ответит точно,
но сомнение всегда
в голове его проскочит.

Оптимист ответит: «Пять!»
и при этом веселится:
«Ну, зачем нам точно знать
умножения таблицу!»

Что-то ищет пессимист –
строчки смотрят только вниз.
Оптимист на всю страницу
вверх своей строкой стремится.

Вкус коньячный всем знаком,
пессимист сравнит с клопом.
Оптимист клопа раздавит,
скажет: «Пахнет коньяком...»

Удалые, молодые,
анекдотов знали много.
Мы стоим совсем седые
здесь, у школьного порога.

Оптимист вздыхает грустно:
«Жизнь нас кувырком бросает».
Пессимист стал «новым» русским,
коньяками угощает.

«Не печалься друг-приятель,
будет должность и оклад,
и найду тебе занятие!» –
оптимист потушил взгляд:

«Ну, зачем тебе я нужен –
огонёк в душе погас,
далее станет много хуже,
жизнь испытывает нас»...

А наутро, после встречи,
разбредлись: кто вверх, кто вниз.
Оптимисту стало легче,
пессимист напился вдрызг.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Зачем, скажите мне, безумства этот миг?
недзь не остановить струну стального нерва.
В пружину сжался он и мчится напрямик,
в декабрьский уют, промчавшись цифрой первой.

Смириться и забыть, что много лет подряд,
в преддверье января, с тобой мы были вместе.
Не лопнула струна, не кончился заряд,
но как нам возвратить любви угасшей песню?

Уходит старый год и чувств водоворот,
любовь в душе жива, а значит не напрасно
в пружину сжался миг, но если в Новый год,
умею я понять, что чувства не угаснут!

ПРОГУЛКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ (14 ноября, 17 градусов тепла)

Синее небо и солнышко греет:
дары ноября в уходящем году.

Медленно бродит по пёстрой аллее,
моё отраженье в зеркальном пруду.

В воздухе кружатся красные листья, –
я соберу их в осенний букет.

Может, разгонит печальные мысли
«Бабьего лета» прощальный привет.

Галина Фирсова

Родилась в Днепродзержинске. В Берлине с 2009 года.

Публикация в альманахе «До и после» №14.



ГРУСТЬ

Я смотрю сквозь стекло морозное,
Зимний вечер в лицо мне дышит,
И холодные капли звёздами
По стеклу стучат и по крыше.

Льдом покрытые ветки клёна
Шлют, качаясь, привет прощальный,
Вместе с ветром скрипят и стонут,
Тяжело им в плену хрустальном.

Лишь фонарь, нарушая темень,
В них швыряет потоки света.
Как живые, в них мечутся тени,
Блеском огненным разодеты.

И, сплетаясь в волшебном танце,
Они к помощи, будто, вызывают.
Зябко тянутся тонкие пальцы
К свету окон, и слёзы роняют.

Мне б хотелось озябшие ветви
Отогреть своим тёплым дыханьем.

И не знаю, чем вызвано это,
Грустью или простым состраданием.

По качаются гордо и вольно,
Тень бросая прохожим вдогонку,
И я слышу, наполненный болью,
Перезвон их, печальный и тонкий...

БЕРЛИНСКАЯ ОСЕНЬ

Осень пришла полновластной хозяйкой,
Жёлтым ковром застелила лужайки,
Листья смахнула движеньем небрежным,
Парки багрянцем украсила нежным.

Клёны и липы, тоскуя о лете,
Пёстрые письма бросают на ветер.
Хмурится Шпрее, замедлив движенье,
Морщится в ней облаков отраженье.

Словно корабль – исполни в непогоду,
Остров Музеев врезается в воду.
«Алекса» вышка – погой великана
Встала на площадь из гущи тумана.

Фридрих командует, как на параде,
Липовым войском в осеннем наряде.
«Потсдамер платц» распахнул свои своды...
Город прекрасен в любую погоду.

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВУ

О далёком Берлине я слышала в детстве,
Он со словом «война» связан был очень тесно.
Я читала стихи о советском солдате –
Под обстрелом он девочку спас в белом платье.

А вокруг лишь огонь и суровые лица,
Из руин смотрят окон пустые глазницы...

Но прошло много лет и событий, и ныне
Я по воле судьбы оказалась в Берлине.

По широким гуляю проспектам и паркам,
Как магнитом, влечёт Брандербургская арка
И Рейхстаг, полусферой стеклянной увенчан...
Это город, как веха истории, вечен.

Многим странам не раз угрожал он войною,
Рвали город на части, делили стеною,
Но тянулись друг к другу его половинны
И упрямо срастались опять воедино.

Современный Берлин – два крыла вольной птицы,
Серой лентою Шпрее вдоль улиц змеится,
А «высоток» антенны царапают тучи...
Он в движении вечном, красавец могучий.

И распахнуты двери музеев и храмов
Для людей разных наций, наречий и правов.
Я, любуясь, брожу по берлинским кварталам,
Этот город теперь новой родиной стал нам.

В «Трентов-парке» цветы возлагаю солдату,
Держит девочку ту, что он спас в 45-м.
Пусть война не грозит нашим детям отныне.
Благодарна судьбе, что живу я в Берлине



Марк Шейнбаум

Родился в Ковеле в 1928 году. В Берлине с 1995 года. Публикации в альманахах «До и после» №№5 – 14 (проза, стихи, переводы), «Третий этаж», в журнале «Беглец», в периодике Берлина и Израиля, в коллективных Берлинских сборниках «Скрипач из гетто» и «Еврейские мотивы». Автор книги «Не наступите на Монтеви»

О ВОЙНЕ, ПЛЕНЕ И ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕ

Светлой памяти моего друга Евгения Няцу

Мой друг Женя был на десять лет меня старше, на двадцать сантиметров выше ростом, и намного совершеннее во всём. Он умел спокойно реагировать на всякие несуразицы в жизни и даже с лёгким юмором относиться к несправедливости. Романтик в душе, прагматик в повседневности, он требовал от действительности соответствия своим завышенным представлениям о ней, в пределах возможного, конечно. Наша дружба продолжалась около сорока лет. По национальности он был молдаванин. Вообще, ни для него, ни для меня в выборе друзей пресловутая пятая графа советского паспорта не имела ни малейшего значения.

Как-то, вскоре после того, как я стал обладателем новеньких «Жигулей», Женя безапелляционно заявил: «Занимел машину, вози меня теперь на родину, ты увидишь наши старые Кодры, а я – своих старых друзей». Путешествие оказалось приятным, хотя не без риска, так как мой водительский опыт тогда исчислялся всего несколькими днями. Ни в одной гостинице по пути и туда, и обратно, мест не было – ночевали мы в машине. Женя возмущался, что «Жигули» проектировали под лилипутов вроде меня, и ночью его длинные конечности задевают то руль, то рычаг переключателя скоростей.

Конец лета. На стоянках нас будили птичьи голоса и ле-

Штняя дробь капель росы, соскальзывающих с веток на крышу машины. Когда мы по утрам начинали путь, до середины стволов сосенок в лесочках стоял туман, и казалось, что слышно, как в этом тумане из земли обильно проклёвываются маслята. В одну из ночей мы остановились на красивом высоком берегу широкой реки, подумывали даже спуститься искупаться, и только под утро от строгих пограничников узнали, что мы ночевали в запретной пограничной зоне у реки Прут. Лексические изыски, которые были употреблены «часовыми родины» вывалили лёгкую рябь на поверхности реки.

В Молдавии в тот год по «указанию свыше» любой клочок земли во дворах, на пустырях в сёлах и райцентрах, и даже кое-где в городах, засаживали виноградом. Государству можно было сдавать виноград или молодое вино по очень выгодным ценам. Огороды тоже пошли под виноградники. Овощей на базарах или не было вовсе, или, если и были, то за огромные деньги. В Москве ещё не свирепствовал доктор Оппенгейм, и рынок сбыта для молдавских вин был обширным. На склонах Кодру, по всё тому же указанию свыше, были выкорчеваны вековые заросли орешника и посажен виноград. Правда, случился конфуз. Когда не стало последнего орешника, англичане, наслышанные об ореховых лесах в Молдавии, прислали чрезвычайно выгодный заказ на орехи. Спустя несколько лет, опять-таки по «указанию свыше», в связи с антиалкогольной кампанией, вырубались теперь уже виноградники. Орешник пока ещё не вырос.

Ехали мы в гости к женинному гимназическому другу Моне. Не виделись они с Женей целую вечность. Объятия при их встрече были похожи на клич, а стол казался срисованным из книги «О вкусной и здоровой пище». После «ахов и охов» по типу «А ты совсем не изменился!» пошли воспоминания.

Моня теперь был директором школы в небольшом райцентре. В прошлом они с Женей вместе окончили гимназию, затем учились недолгое время на медицинском факультете в румынских Яссах. Моня медицине изменил. Женя после войны продолжил учёбу и стал великоколесным врачом. Это то, что мне было известно о их прошлой жизни, а то, о чём я узнал дальше, было для меня полной неожиданностью.

Как и многие в Молдавии, они знали уйму языков, в том числе и русский. Вместе до войны увлекались Пушкиным и Некрасовым, были наслышаны о Есенине, Цветаевой и Ахматовой. Атонеску вызывал у них крайнее неодобрение, а «Железную гвардию», которая рвалась к власти в Румынии, считали подручными гестапо. Втихаря слушали радиостанцию «Коминтерн» и ждали прихода освободителей с севера. 28 июня 1940 года это наконец случилось: в Бессарабию и Буковину

ну вступила Красная армия. Разочарование наступило довольно быстро. Начались депортации в «места не столь отдалённые», очереди за всем. Объявление о том, что мыло отпускается «только по куску в одной руке», появилось значительно раньше, чем объявление о подписке на сочинения Цытаевой, которое, впрочем, так и не появилось вовсе. Кое-где стали организовывать колхозы, насильно разлучая хозяек с их бурёнками. Просыпаться и засыпать приходилось под песню о мудром вожде. Не успели мальчики до конца осознать, что их мечта, соприкоснувшись с действительностью, слегка поблекла, как наступил 1941 и они оба оказались в рядах Красной Армии. Поскольку родная советская власть не очень доверяла своим новым гражданам, им вместо винтовок вручили лопаты. Они отступали в авангарде, роя окопы, которые тут же оставляли прагу отступающие вслед за ними боевые части.

В плен их взяли немцы где-то под Харьковом и погнали в пыльных колоннах на запад. Для еврея Монни плен был смертным приговором. Нужно было срочно что-то придумать. Инициативу взял на себя Женя. Первым делом избавились от моннинных документов. Женя окрестил его фамилией малоизвестного гагаузского писателя Мамоглу, имя позаимствовал у другого писателя гагауза – Толдур. Гагаузы – тюркоязычный немногочисленный народ, обитающий в Молдавии. Женя избрал именно их, надеясь, что среди них могут встречаться и мусульмане, хотя гагаузы в большинстве своём – христиане. Фамилии-то у них турецкие. Мусульманство годилось бы в случае, если кому-то вздумается проверять национальность Монни, расстёгивая его ширинку. Нужно было также попытаться расстаться с частью, в составе которой их пленили, и где национальность Монни не была секретом. Им повезло, они буквально в первый день оказались востребованными как медники. Где-то неподалёку среди пленных разразилась эпидемия сыпняка, и понадобились санитары. Они оба имели за плечами по два курса медфакультета, и Женя сумел убедить охранников, что они почти доктора. Их увезли в отдалённый лагерь. Когда сыпняк пошёл там на убыль, им вновь вручили лопаты. Они очутились где-то под Винницей, соорудили какой-то подземный склад. Кормили их исключительно супом из брюквы. Провидение и тут оказалось милостивым, послав им спасение в виде двух румынских полковников – врачей. Те проезжали мимо на пролётке и слышали как Женя с Моней, то бишь с Толдуром, переговариваются на чистом румынском языке.

(Как меня заверил Женя, молдавский отличается от румынского намного меньше, чем московский говорок от питерского в русском, если вообще как-то отличается.). Полковники никак не могли взять

и толк, почему румыны оказались в плену у своих союзников немцев. А узнав, что речь идёт о студентах медиках, выступили ходатаями об их освобождении. Друзья оказались на свободе. Их снабдили великодушными документами и бывшими в употреблении румынскими, пахнущими дезинфекцией, шинелями. В родных советских шинелях их бы задерживали на каждом шагу. Начался трудный путь домой, где пешком, где на попутных товарняках, которые не всегда оказывались в итоге попутными. Длилось это настолько долго, что Мотя, простите – Тодур, успел где-то подхватить всё тот же сыниак и Женя его две недели выхаживал в сарае у какой-то одинокой женщины, которая была готова оставить любого из них, а то и обоих у себя в качестве работников и не только. Добрались, наконец, домой. Прошло не очень много времени – их опять освободила советская армия. Мыло стали вновь выдавать в очереди по «куску в одни руки».

Мы с Женей возвращались домой из поездки в благостном настроении. В аварию не попали, в багажнике перекатывались с бульканьем два ипичных бочонка с молдавским вином. Мне, правда, было слегка обидно: как это до сих пор я не знал ничего о женских фронтовых подвигах. Почему он скрывает, что был «участником войны». Ему полагались бы кое-какие блага, а заодно он был бы прикреплён к магазину, где дают гречку, а я обожаю гречневую кашу с варнычками. Учитывая историю с Тодуром Мамоглу, он мог бы претендовать ещё и на звание Праведника мира. Почему он скрывает до сих пор свои подвиги. Женя объяснил довольно доходчиво: «Сразу же после того, как стало бы известно, что я был в плену, да ещё каким-то странным образом из плена освобождён, – сказал он, – мне бы предоставили в виде компенсации отдых в «санатории» где-то возле Воркуты и возможность дальше наслаждаться супом из брюквы, только в более прохладном климате». В конце ему отказать нельзя было.



Михаил Эненштейн

Родился 17.04.1932 г. в Одессе. В Берлине с 1997 г. Публиковался с 1957 г. В альманахах «Третий этаж», «До и после» №№3–13. Журналах «Студия», «Крещатик», «Русский глобус». В периодике США, Германии, Украины, Израиля.

•БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ ДУШНЫЕ•

Прошло более десяти лет с того времени, как свидание с Виолкой накрылось сплошной дырой в форме утюга на единственной рубашке, сшитой из пелёночной ткани. Тогда со двора окликнул приятель – перекинуться парой слов. А когда баба Маня закричала из соседнего окна: «Бабы! Шось дымом тягнэ!» – меня сдуло с балкона. В комнате, над столешницей, обтекая раскаленного монстра, погружённого в плечо рубашки и подстилку, курчавился сизый дымок.

...

•Выбившись• в начальство, я работал в столице одной из южных республик, и теперь в шкафу висело с десяток добротных сорочек. Школьные годы, поцелуи в парадных, любовь одноклассниц до гроба, постепенно выветривались из памяти. Но при виде затерявшихся в межгорьях деревьев в белой акации на душе у меня становилось тревожно.

Оказывалось, память о юности с её радостями и страданиями не исчезает, а напротив, вписана в меня, в мой мозг, являясь некой жизненной опорой. Тогда не спится, громоздятся воспоминания, появляется ощущение, что я затерялся: в жизни, в стране, где живу и работаю, в любви, изменах и сплетнях.

С невесёлыми мыслями о неприятностях по результатам предыдущей экспедиции, возвращался домой с работы. Мельком обратил внимание на шедшую навстречу стройную женщину.

Гладко зачесанные назад русые волосы оттенял разлёт тёмных бровей. Миловидное лицо, не тронутое бешеным азиатским солнцем, мегалитный костюм с маленьким красным цветком на лацкане, тонкий шарф того же цвета вокруг шеи. Высокие каблуки делали её походку легкой. Приезжая, подумал я. Хотел оглянуться, но было неудобно.

– Мусик! Мусик! Мишка! Это ты, Мишка – только один человек знал, как нежно называла меня мама. Я обернулся. Самая красивая девчонка нашей школы – Виолка, возникла из прошлого. Она пристально рассматривала меня. Глаза расширились, по лбу пробежали морщинки, и она бросилась ко мне, но в трёх шагах остановилась и улыбнулась, лицо стало спокойным, а взгляд оставался тревожным словно, она хотела и боялась этой встречи. Мы обнялись, руки её дрожали. Едва уловимый аромат акации вдруг закружился и счастливой волной окатил моё сердце.

– Виолка! Ёлка! – какими судьбами?

До ближайшего кафе было с десяток шагов. Виола подвела меня к окну.

На большом рекламном щите, под аршинными буквами «Цирк», в объятия мускулистого стройного человека летела девушка. Два скрещенных луча высвечивали её фигурку в обтягивающем блестящем костюме. – Если присмотришься, узнаешь девушку, а ловит меня муж, – сказала она. Мне стало не по себе. Без всякого права и причины грызла речность. Почему не я ловлю эту очаровательную женщину, почему не я отправляю в полёт, почему не в мои объятия она возвращается?

– Ты его любишь? – вдруг спросил я. – Прости, сорвалось. Она рассмеялась с лукавинкой.

– Он очень надёжный, а в нашей профессии, это цена жизни, и добавила, – почему у тебя испортилось настроение? А глаза засветились.

Я промолчал, потому что не знал, нет, знал и боялся этого.

Какой дурак сказал, что в одну реку не войдёшь дважды? Ещё как войдёшь, побежишь, и снова будешь захлёбываться от счастья, от тоски, и снова проклинать.

– Ты довольна работой?

– Сейчас поздно говорить на эту тему. Я цирковая, давно работаю под куполом. А ты как? Наши говорят, надолго пропадешь: то в горах, то в песках, а то и в снегах. – Кто это наши? – её заботила моя жизнь, – подумал я.

– Общие знакомые, – скороговоркой ответила Виола. В ней что-то изменилось. Сминая салфетку, попросила ещё кофе. Взяв себя в руки, с улыбкой сказала:

- Мишка, да ты стал франтом, одеваешься за бугром?

- Намекаешь на остатки туфель, заправленные в калоши? Струйки воды от тающего снега, стекающие на паркет вашей гостиной. Вместо пальто - шинель в два обхвата, от вернувшегося с войны тётюшки - женщины с грудью пятого размера? Шинелька висела на вешалке в прихожей среди шуб и кож, как нищая вдова и спецмагазин.

- О чём ты? Она была лучшей среди богатого барахла, - заметила Виола, и мы расхохотались так радостно, так громко, как в дни нашей юности. Вдруг она тихо спросила. А помнишь парадную и поцелуй на каждой ступеньке?

- Помню, - с горечью ответил я.

...

Да, помнил, и поцелуй, и её дом, где в открытые окна пенились гроздья акации. Стены, увешанные картинами в тяжёлых рамах, на полотнах которых, как фрагменты, обязательно были эти цветы. Её отец был фанатом акации и гимнастики дочери. Летом и зимой в доме стоял едва уловимый аромат. Я помнил уважительное и доброжелательное отношение отца Виолы ко мне, мальчишке, беседы со мной о театре, музыке как с равным. И, конечно же, всегда контрамарки на галёрку без мест, для меня и дочери. А также и синяки после драк с соперниками помнил. Потом мы расстались на радость всей школы. Может быть, повзрослели? А может быть, постоянная нехватка у меня денег? Я не мог пригласить её в кино, кафе, театр, и хотя пыталась она платить сама, убеждая, что это чепуха, но я отверг это с перлой попыткой. Напряжённое состояние и необходимость выкручиваться, особенно зимой, доводили меня до отчаяния. Иногда казалось, что Виолка, встречаясь, делает это кому-то назло.

Я перешёл в другую школу. Пытался работой заглушить мысли о Виоле: ухаживал за инвалидом отцом, когда мама работала в ночную смену, бегал на рынок и старался делать всё по дому.

Прошло ещё время. Я поранил руку, она отекала, а вдоль вены появилась тёмная полоса. Почему-то в больницу не положили, а в доме дежурила медицинская сестра. Узнав, Виолка прибежала. Видно, ей сообщил мой друг.

Она была совсем другая, не девчонка, а девушка, безукоризненно сложенная, с гордым поворотом головы и глазами такой глубины, что смотреть в них было страшно. Ошарашенный, я отводил взгляд, а сердце прыгало и плавилось от счастья. Держась за руки, мы почти не разговаривали.

Может быть, всё-таки в больницу? Она долго смотрела мне в глаза. Потом резко поднялась.

Будь счастлив. Научись чувствовать и понимать дорогих тебе людей.

Внола ушла. С тех пор я её не встречал, разговоры о ней тотчас прерывал. Но матушка-судьба оказалась хитрей и через много лет сделала мне сюрприз.

• • •

Но почему так печально? – тихо спросила она.

Отгоняя воспоминания, я махнул рукой.

Миника, Миника, – ты и тогда ничего не смог понять. Она это сказала таким тоном, словно мы расстались неделю тому назад. В её глазах что-то испыхнуло. Внола говорила, говорила проникновенно, нежно, её голос заполнял душу то ли воспоминаниями, то ли чем-то новым, чего я сам не понимал. Не прислушиваясь к словам, наслаждался его звучанием. Сердце стало лёгким, запрыгало и подступило к горлу.

Вдруг слезинки покатались из её глаз. Они текли по подбородку, падали тяжелыми каплями в мою душу, в мою прошлую и настоящую жизнь.

Наконец, я услышал её слова:

• Так хорошо и грустно сейчас и так больно. Я проснусь, и останется лишь горький осадок из-за потерянного, невозвратимого прошлого, может быть, самой светлой поры моей жизни.

Взяв её руки, ладонями прижал к своему лицу. Они были горячими, пальцы чуть шевелились, словно пытались передать мне что-то важное, что мучило и переполняло её.

Мне пора, скоро на манеж, – твёрдым, отрешённым голосом со смехом другого человека, – сказала она и добавила, – если захочешь, приходи, в любой вечер контрамарки будут у билетёра. Прощай! – и быстро пошла к двери.

Слук её каблучков громыхал в голове, как весенний гром. Вдруг понял, это возвращается моя юность. Всё прожитое до сих пор не существовало, его вовсе не было, остался только аромат акации и наполненные слезами глаза Внолки.

Ночью заснуть не мог. Отчего мне так радостно и грустно? Вернулась любовь? А где же она была эта любовь, почему молчала и таилась где-то на самом дне сознания и через столько лет выпрыгнула, как чёртик из табакетки? Или просто заговорило мужское начало, когда инстинкт требует – красивая женщина должна принадлежать только тебе? Нет, это не то! Любовь непредсказуема, как непредсказуемы повороты

судьбы. Она то приходит, то уходит. Или ты воспринимаешь это спокойно, как предначертанное свыше, или не можешь смириться и сказать «прощай!» И может быть, дело не в том, что надежды превращаются в развалины, что мечты оказались фикцией, что горечь отравляет душу и сердце кровоточит. А боль настолько непереносима, что не позволяет достигнуть то, во что разум отказывается верить. Всё это было тогда, много лет назад. А сейчас я, состоявшийся человек, ограждённый стеной опыта и разрушенных семейных отношений, встретил женщину, разбудившую мою и свою юность.

Что я должен сделать? Что я могу сделать? Что я имею право сделать? Эти вопросы долбили мой мозг. Имею ли я право пытаться смять уклад её жизни и предложить сменить состояние полёта, успех, аплодисменты, гастролы на участь преподавателя физкультуры, трёхкомнатную квартиру здесь, полугодичное одиночество во время моих экспедиций, египетскую жару и песчаные бури? Я понимал, актёры, балетные, цирковые не могут жить без сцены, запаха кулис, сияющего света прожекторов, публики. А если она не согласится, как жить дальше? Теперь уже белая акация на моём пути будет зримо, отчётливо, а не в дымке юности, напоминать прекрасную женщину, так жгуче желанную, ещё вчера, возможно, готовую остаться со мной.

Бутылка коньяка опустела наполовину – ни опьянение, ни решение не приходили.

В последний вечер гастролей я бродил у цирка, не решаясь войти. Мне безумно хотелось её увидеть, до зубовного скрежета ревновал и ненавидел этого красавца – ловитора.¹ И всё-таки я заморожено смотрю выступление воздушных гимнастов. Заморожены и зрители. Под куполом цирка на штамбортах² в створе арены Виола, напротив – муж. Их фигуры, в выси, кажутся небожителями. Но я-то знаю, они, как и я, состоят из плоти и крови – два красивых, идеально сложенных человека – мой соперник и женщина, которую я люблю. Меняя цвета, прожектора лучами бороздят зал, замирая то на зрителях, то на гимнастах. И тогда их обтягивающие костюмы на фоне тёмного купола пылают то огненно-красными сполохами, то синие-голубым сиянием. Зал ревет от восторга. Аплодисменты перемешаются криками «Браво». Музыка смолкает, цветные прожектора гаснут. Гимнаст в висе вниз головой раскачивается на короткой трапеции.³ Виола, у своего штамборта, обхватив ладонями перекладину трапеции, повисает над ареной. Раскачиваясь, они максимально возможно уменьшают расстояние между собой. В зале тишина, как перед грозой. Гаснет свет. Слышится далёкий рокот барабанов, он

усиливается, вспыхивают два прожектора, удерживая женщину в своём перекрестии. Команда – «Ап!»¹

Виола разжимает ладони, делает кульбит вперёд и несётся по воздуху, словно птица, на встречу словиторм. Я вдавливаюсь в кресло, ломая ногти о подлокотники. Как бесконечно долго длится этот полёт и как ловко ловит её этот красивый человек. Ещё мгновение, они вылетают на штамборт, включается полная иллюминация. Обхватив друг друга за талии, кланяются публике. Зрители в восторге. Страх её жизни, восхищение, любовь, ревность, тоска от безнадежности ударили в голову, а сердце в железных тисках будто месилось злым пекарем с большого похмелья.

Мне подумалось: «Это прекрасное создание так же недостижимо, как много лет назад, – и ещё – действительно дважды в одну реку не войдешь».

На арену торжественно вышел инпрехиталмейстер,² с гордостью неся сюю традиционную, расчёсанную надвое, бородку, давая понять, только он вправе объявить самый главный номер программы, и хрипло поставленным голосом возвестил:

– А сейчас, дорогие друзья, смертельный номер, впервые исполняемый в нашем цирке. Напряжение захлестнуло ряды. Виола быстро взбиралась по верёвочной лестнице на самый высокий штамборт под куполом цирка. Мне показалось, что зная о моём присутствии, она что-то задумала. Барабанная дробь убыстряла ритм. Тревожное чувство заполняло меня со скоростью экспресса, шалестившего на длинный перегон. В сознании всплыла последняя встреча и её глаза, заполненные слезами. Встав во весь рост, Виола прогнулась, и вдруг страховочный поясок вокруг её талии отскочил и упал в стороне на лонже³. Я похолодел, купол падал на меня. Пытаясь защититься от обломков, я вскочил и заорал:

– Виолка, не делай этого, прошу тебя, не делай!

Она оттолкнулась от бортика, раскинув руки, ласточкой полетела вниз. Медленно, очень медленно, арена приближалась к ней, так же медленно, как и я валился на бок, продолжая шептать, – не делай этого, не делай. Уже совсем в тумане успел разглядеть, как подлетая к сетке Виола перевернулась на спину. Сетка, пружины, подбросила её вверх. В воздухе гимнастка сложилась, сделала сальто вперёд и, приземлившись на ноги, поклонилась публике.

Зал громыхал.

Я очнулся на третий день в больнице. На столыке стояла ваза с ветками белой акации.

Рядом – запечатанный конверт. Вскрыл его.

Мусик!

Слава Богу, это не инфаркт. Врач объяснил – скоро поправитесь. Ждала до утра, думала, откроешь глаза. Ты снова ничего не понял, как и много лет тому, или не веришь ни себе, ни мне.

¹ Ловитор – принимает, ловит партнёра, перемещаясь к нему на короткой трапеции.

² Штамборт – металлическая перекладина подвешивается горизонтально, за края крепится растяжками.

³ Трапеция – металлическая перекладина, подвешенная на двух верёвках с металлическим тросом внутри.

⁴ Ал! – команда, принятая в цирке, обозначающая начало или выход из трюка.

⁵ Шпрехштаммейстер – лицо, отвечающее за порядок и последовательность выполнения циркового представления.

⁶ Ложеа – перекинутый через подвесной блок тросик, один конец которого удерживает страховщик, а другой пристёгивается к поясу гимнаста

Елена Ямова

Родилась в Кировабаде (Азербайджан). В Берлине с 1995 года.
Публикации в альманахах «Наше время», «Третий этаж»,
«Моабит», «До и после» №14.



ЛЯГУШКА И СОЛОВЕЙ

(сказка)

На краю пшеничного поля в уютной норке жила бабушка-полевая Мышь. Пришло время сна, и она укладывала в постельку своего любопытного неугомонного внука. Мышонок не мог никак уснуть, и попросил бабушку рассказать ему о Соловье, песню которого он впервые услышал на рассвете и целый день по-своему её напевал.

– Знаешь, мой милый мальчик! – сказала бабушка, – хоть я стара и в жизни повидала много, но о Соловьях я почти ничего не знаю. Они живут рядом, мы их видим, слушаем их melodичные песни, но как часто бывает, ничего о них не знаем. Она задумалась и произнесла:

– Пожалуй, мой милый, я всё-таки могу рассказать тебе небольшую историю о Соловье и Лягушке.

Это случилось, когда я была маленькой светлосеренькой мышкой – такой, как ты сейчас. Жили мы у небольшого, но глубокого пруда. Я часто ходила туда гулять, хотя за это меня ругала моя бабушка. В то время я не понимала её беспокойства, как ты не понимаешь моего. Я не подозревала об опасностях вокруг. Что там такого страшного, отважно думала я, когда бабушка меня предупреждала, чтобы я была осторожна. Да! Да! Она волновалась так же, как я переживаю за тебя.

Однажды я сидела на ветке ивы, свисающей над гладью

до и после войны и кричи

пруда, и наблюдала за лягушками. Они сидели на листе кувшинки и нежились в лучах утреннего солнца. Одна из них бормотала себе под нос. Потом она громко произнесла:

– Я, кажется, придумала песню! Послушай, – обратилась она к лягушке, дремавшей рядом, та нехотя потянулась, приподнялась, громко зевнула и сказала:

– Ну, давай... я тебя внимательно слушаю.

– Я ля-ля-гу-шка! Ква-ква-ква! Я ква-ква-кушка! Ква-ква-ква! – что было мочи проквакала первая.

– Какая замечательная песня! Ох! Какие волшебные рифмы и звук! Да ты большой поэт! Какой успех! Пойду, расскажу всем о нём. Она прыгнула в воду и уплыла в сторону камышей.

– Большой поэт? А почему бы и нет? – пробормотала воодушевлённо Лягушка. Она улеглась поудобнее и закрыла глаза, не заметив, что мимо пролетела большая бабочка. Та шумно хлопала крылышками. Лягушка, не открывая глаз, представила, что ей аплодируют. И повернувшись на другой бок, воскликнула: «Как хорошо быть знаменитой!» – и сладко уснула. Спала она долго. Что ей снилось? Не знаю. Но её разбудил Соловей. Он сел на соседний лист кувшинки и стал пить воду. Лягушка проснулась и возмущённо сказала:

– Что ты тут делаешь, серая иташка? Как ты посмела нарушить мой славный сон? И вообще, кто ты?

– Я Соловей! Прилетел сюда водицы напиться. Простите, я совсем не хотел нарушать ваш покой.

– А я... Лягушка! Прошу любить и жаловать! Как говорят. Большой поэт! – гордо изрекла она – я пишу песни и их пою!

– Я тоже пою – сказал скромно Соловей, – если хотите я спою вам свою соловьиную песню и с удовольствием послушаю вашу, и может быть, что-нибудь да подскажу.

– Да нет, не надо ничего, – лениво промолвила Лягушка, – значит ты тоже поэт, ну надо же, – возмущилась она – такой маленький пруд и два поэта.

– Нет! Нет! Я не пишу песен, я просто пою.

– И о чем же твои песни, Соловей? – недоуменно спросила лягушка.

– О том, как прекрасен сегодняшний день! Как хорошо вокруг, как волшебен запах цветов, как прекрасно жить, любить и дарить радость другим...

– Разве об этом поют? – перебила его Лягушка, – надо петь о себе! – поучительно сказала она, а потом полушёпотом, чтоб не слышал Соловей, добавила – Такой невзрачный, серенький, еще и поёт, разве

может он спеть что-то приличное, но лезет тут со своими советами.

Напившись воды, Соловей снова попросил Лягушку спеть ему её новую песню.

Лягушка открыла, было, рот, но оказалось, что она позабыла свою утреннюю песню. Да и ладно, – подумала она, – что проку в том, чтоб петь какому-то соловью.

– Да нет! Мне советы ни к чему, я ведь большой поэт и написала столько песен, что сейчас и вспомнить не могу, – лениво ответила она.

– Ну, хорошо. Тогда простите меня за назойливость. – сказал соловей и улетел прочь.

Он сделал крут над водоёмом и сел на новую ветвь недалеко от меня, – сказала бабушка-мышь, – мне так хотелось попросить Соловья спеть, чтоб его слышала зазнававшаяся Лягушка. Ведь я слышала весь их разговор и то, что шёпотом произнесла она. И мне стало обидно, ведь я знала, как славно поёт Соловей.

В это время Лягушка продолжала беззаботно лежать на листе кувшинки и нежиться в лучах своей воображаемой славы. Вдруг из камышей появилась Цапля. Она быстро зашагала в направлении кувшинок – туда, где находилась лягушка.

– Лягушка! – крикнул соловей.

Но Лягушка возмущённо произнесла: – Опять он лезет со своими советами, я же Большой поэт! Ему этого не понять.

В это время цапля была уже рядом с ней.

– Лягушка, берегись! – отчаянно крикнул Соловей. Но было уже поздно. Цапля схватила и подкинула лягушку вверх, раскрыв клюв, проглотила её...

– Вот, мой маленький мальчик, – сказала бабушка-мышь – так в чреве цапли пропала Лягушка с несбывшимися мечтами, она не хотела слушать ничьих советов, не сделала совершенно ничего, но вообразила себя большим поэтом. О ней никто и не вспомнил.

– А что стало с Соловьём? – спросил любопытный мышонок.

– Соловей? Он спел ещё много песен. Его песни поют и сейчас. Не только соловьи.

– Да, бабушка! – сказал мышонок, – я теперь никогда не буду хвататься.

– И будешь прислушиваться к советам других? – спросила бабушка.

– Конечно, – ответил он.

– Тогда послушай добрый мой совет: закрывай глазки и спи. – прошептала бабушка-мышь и нежно поправила одеяльце.

ЛОШАДКА

(сказка)

В большом городе, в витрине крупного магазина стояла обыкновенная чёрная Лошадка. Лошадка-качели. Она катала всю свою жизнь детей и помнила маленькой девочкой даже бабушку Грету с соседней улицы. Каждый раз с нетерпением Лошадка ждала детей, помня всех поминённо. Её вздыбленные грива и хвост, горящие глаза, не оставляли равнодушным ни одного ребёнка. Она, казалось, летела куда-то в неизведанную даль, унося туда своих наездников.

Время шло, как всегда быстро. Манекены меняли свою одежду, по весне на улице цветущий каштан укрывал нежным ковром мощёную площадь, а летом – игривый вестерок разбрызгивал вокруг струйки фонтана, разгоняя ленивых голубей. Осень обычно прибавляла дворнику работы, заставляя каждый день убирать свой прощальный наряд. Зимой же наступало то время, когда здесь, на площади у фонтана, появлялся Рождественский рынок. И поток морозного воздуха заносил в магазин запахи хвои с примесью корицы и ванили. И тогда отовсюду веяло полшебством.

В воскресенье дети со сладкими глазированными яблочками на палочках стояли перед витриной закрытого магазина и мечтательно смотрели на Лошадку. Они спорили о том, кто получит сегодня больше монет, и, конечно же, первый прибежит сюда завтра к открытию магазина и дольше всех будет кататься на Лошадке. В понедельник первым прибежал Петер, толстячок из соседнего квартала, он забросил горсть медаков, больно ударил по бокам, и Лошадка поскакала... Петер бил всё сильнее и сильнее, и кричал: «Быстрее! А ну, быстрее!» И Лошадка из всех сил бежала и бежала.

Столпившиеся ребятнишки с заливистой гледицей на Петера, ругая себя за свою медлительность, и ждали окончания бесконечной скачки. Лошадка бежала и бежала. Но, вдруг что-то щелкнуло и заскрежестало, и она резко остановилась.

– Видишь, Петер, она не хочет тебя больше катать! – засмеялся кто-то. Петер неохотно уступил место другому мальчику, но Лошадка не двинулась с места. Дети забрасывали монетки, но они звонко выкатывались назад, и Лошадка оставалась неподвижна.

Петер, ты сломал нану Лошадку, – обиженно сказал розовощёкий мальчуган.

Ребятишки постояли немного, а потом разбрелись кто куда. У поломанной и теперь, как казалось, никому не нужной Лошадки осталась стоять только маленькая девочка. Она стояла и вытирала одним

кулачком слёзы, а в другом что-то держала. Ей было очень жаль Лошадку. Девочка подошла поближе к ней и ласково сказала:

— Милая Лошадка! Я принесла тебе немножко свежей травы, я откопала её сегодня из-под снега, — она протянула Лошадке зелёный пучочек. Трава вдруг исчезла с ладони. Девочка внимательно посмотрела на Лошадку и спросила:

— Хочешь, я принесу тебе ещё немного завтра? — Девочка прижалась к Лошадке и произнесла: «Я знаю, что ты устала и не можешь больше кидать детей, я всегда мечтала на тебе покататься, но у меня нет денег. Можно я на тебе лишь посижу?»

Лошадка одобрительно качнулась. Девочка тихонько забралась на неё, и только она погладила теплой рукой гриву, что-то щелкнуло мною, и Лошадка легонько вздрогнула и медленно, будто боясь испугать наездницу, поскакала. Радостный смех разнёсся по магазину.

— Спасибо тебе милая лошадка, — шептала девочка, — спасибо!

Неожиданно Лошадка сделала большой прыжок, и всё вокруг исчезло. Не было больше магазина, и заснеженные улицы города мерцали в лучах праздничного света, потом снова прыжок и она летела, перепрыгивая с крыши на крышу. Проскакав круг над большим спящим городом, Лошадка вернулась назад, и всё стало, как прежде. Девочка сильнее обняла Лошадку и прошептала ей: «Милая Лошадка, я никогда не видела город сверху. Спасибо тебе за такой волшебный подарок. Можно я приду к тебе снова?»

«Приходите к нам завтра на вечернюю распродажу!» — раздался голос в громкоговорителе.

— Так значит завтра вечером? — переспросила Девочка.

И голос в громкоговорителе на весь зал повторил: «Приходите к нам завтра, на вечернюю распродажу! Завтра вечером вас ждёт много сюрпризов!»

Девочка побежала радостная домой, она не могла дождаться вечера следующего дня. Ей хотелось рассказать всем о полёте, но она знала, что никто, как всегда, не поверит, и её назовут фантазёркой.

Вечер тянулся медленно, ещё длиннее казалась ночь. А когда пришёл день, то и он был бесконечно длинным. Наконец наступил долгожданный вечер, и Девочка стояла уже перед Лошадкой. Как только она приблизилась к ней, подошла женщина подвинула Девочку в сторону и стала усаживать на Лошадку своего малыша. У тебя есть монетки?

обратилась женщина к ней, — ты пришла с травой?! Ты что, Девочка, Лошадка не будет тебя просто так катать, нужны денежки! Если нет денег, то иди отсюда и не мешай другим кататься! Женщина забросила в лукошко монетку, но Лошадка не сдвинулась с места, а монетка не воз-

вскричалась. Забросила ещё, опять ничего не произошло. Возмущаясь, она сняла с Лошадки своего орущего малыша и удалилась.

Но стоило девочке сесть на Лошадку, та снова вздрогнула и медленно качнулась. И тут откуда-то из глубины магазина раздался противный голос женщины:

– Ну, посмотрите же! Что за глупая Лошадь, ей дают деньги, и она ни с места, а потом за чужие деньги катает, кого вздурит!

Лошадка быстро остановилась, и только девочка успела слезть и отойти в сторону, женщина с работником магазина оказались около Лошадки, малыш продолжал истошно орать.

– Да нет, мадам, вам показалось, – сказал работник магазина, – я сейчас проверю, что случилось. Он забросил монетку, и она со звоном выкатилась назад.

– Наверно, какая-то неисправность, как жаль – в канун Рождества наша Лошадка не работает. Я скажу, пусть в кассе вам выдадут назад пару монет и ещё маленький сюрприз для вашего малыша, от нашего магазина.

Когда они ушли, девочка снова подошла к Лошадке.

– Я всё понимаю, и приду к тебе завтра, милая Лошадка.

Но когда на следующий день Девочка пришла в магазин, Лошадка стояла в дальнем углу, и на приклеенном к ней листе бумаги крупными буквами было написано: « Не работает».

Девочка приходила несколько дней подряд и даже по несколько раз на день. А когда она прибежала в очередной раз, Лошадки в магазине не было. Девочка стала искать того работника, которого видела раньше, но не нашла. Только она собралась уходить, как он неожиданно появился. На кармане пиджака поблескивала табличка «Господин Шульц – директор».

– Здравствуй, Девочка.

– Здравствуйте, господин Шульц! А куда пропала наша Лошадка? – печально спросила Девочка.

– К сожалению, Лошадка заболела.

– А её вылечат? – огорченно произнесла она.

– Я думаю, да! Когда я был таким маленьким, как ты, я тоже приходил сюда со своей мамой Гретой и катался на этой лошадке, – мечтательно сказал господин Шульц.

– И она вас тоже катала по небу?

– Да и не знаю, как сказать, по небу или так.

Он о чём-то задумался, постоял и, достав из кармана большую длинную конфету, протянул её Девочке.

– Приходи на следующей неделе, я думаю, что Лошадка к этому

примени выздоровет. Он снова полез в карман, что-то долго искал там, потом вынул обыкновенную, как показалось, монету и протянул её Девочке.

Висень, я дам тебе полшебную монету, и ты сможешь покататься на рождественском рынке на каруселях.

Когда Девочка взяла монетку, та блеснула золотом на свету.

Спасибо Вам за подарки!

Девочка вынула из сумочки зелёную бумажную елочку, которую сама сделала, и протянула её господину Шульцу.

Какая красивая елочка. Ты сделала её сама?

Да, – улыбаясь, ответила она.

На Рождественском рынке Девочка ходила вокруг разноцветных каруселей, ей очень хотелось покататься на них. Она доставала из кармана монетку, смотрела на неё и думала о своей черной Лошадке, хотела купить себе сладостей, но потом вдруг передумала. Она продолжала каждый день заходить в магазин, но Лошадки всё не было. Через неделю Девочка снова отважилась найти господина Шульца. Как только она остановилась на том месте, на котором раньше стояла Лошадка, он вдруг он оказался прямо перед ней.

А, я знаю! Ты, пришла узнать про Лошадку? – сказал радостно он.

Хочешь, мы пойдём вместе и посмотрим, как она?

Девочка улыбнулась. Взявшись за руки, вместе пошли куда-то вниз по ступеням, прошли по коридору, поднялись вверх и очутились в помещении, где находилось множество коробок, пакетов, мешков и разных инструментов. Скорее всего, это была мастерская, где старый Мастер с недоумённым видом сидел перед Лошадкой. Он был похож на Вайнахтсмана с Рождественского рынка рядом с магазином. Увидев посетителей, он явно обрадовался, как будто только их и ждал.

– Здравствуйте, господин Майер, я привел вам посетительницу, она очень переживает за нашу всеми любимую Лошадку, – он подошел к Лошадке погладил её, – с ней всё нормально, она теперь снова работает?

– К сожалению, нет, – ответил уныло мастер Майер, – я не знаю в чем дело, весь механизм в порядке, я ни нашел никаких поломок. А кстати, хорошо, что вы зашли, я должен был показать вам кое-что. Директор и мастер удалились, оставив девочку одну. Здесь было очень уютно, несмотря на хаотично стоящие коробки и остатки от прежних декораций. Девочка подошла к Лошадке, достала маленький пучочек травы, он исчез, как и в прошлый раз.

– Милая Лошадка, я так рада видеть тебя!

– Я тоже, – вдруг ответила Лошадка, – я бы так хотела снова тебя

покатать и других детей тоже. Но, к сожалению, я не смогу этого сделать, так как для этого ты должна опустить ту единственную монетку, которая у тебя есть. Я знаю, что ты её сохранила, но я не могу просить тебя об этом.

Девочка быстро достала из кармана монетку, та засияла в полутемном помещении, как рождественская звезда на небосводе. Стоило бросить монетку в луночку, и всё вдруг исчезло куда-то. Как и в прошлый раз, они понеслись над городом, только теперь шел снег, он искрился в лунном свете, покрывая улицы и всё вокруг пушистым ковром. Они неслись всё дальше и дальше. Девочка видела другие города. Как красиво, не переставая, повторяла она. Как красиво...

Когда они вернулись назад, господина Шульца и мастера еще не было. А когда те вошли, Лошадка продолжала плавно покачиваться.

На следующий день в канун Рождества Лошадка опять катала детей в магазине, а Девочка вдруг обнаружила в своем кармане золотую монетку. Потом она часто каталась на любимой Лошадке, и каждый раз находила в кармане золотую монетку...

Давид Яновский

Родился 28.03.1933 г. в Киеве. С 1998 г. – в Берлине. Публиковался во многих журналах и альманахах Германии, в альманахе «До и после» №№3-14 опубликованы стихи и переводы с немецкого, в коллективных берлинских сборниках «Скрипач из гетто» и «Еврейские мотивы». Автор трёх книг стихов.



ГЛАГОЛЫ ЛЮБВИ

Роза любви расцветает и вянет,
Роза любви исцеляет и ранит.

В море любви и плывём мы, и тонем,
В море любви и поём мы, и стонем.

Пламя любви в нас пылает и тлеет,
Пламя любви нас сжигает и греет.

Только любовь освещает дорогу,
Только любовь возвращает нас к Богу.

СПАСИБО

Я говорю спасибо Богу
За то, что появился я на свет,
За то, что прожил я так много
Счастливых и не очень лет.

Я говорю спасибо Богу
За каждый день, который проживу.

ДО И ПОСЛЕ войны и мира

Спасибо за покой и за тревогу,
За ночи мрак и утра синеву.

Благодарю за бабочек порханье,
За аромат и красоту цветов.
Спасибо за волшебное звучанье
Дыханием души рождённых слов.

Благодарю за творчества порывы
И за любви дарованное чудо,
За дочек одарённых и красивых,
За то, что есть я, и за то, чем буду.

Всё, что поплёнью мне, я приму смиренно:
Не нам судить Создателя Вселенной.

* * *

Всё круче и длинней дороги,
Всё тяжелее килограмм.
Всё реже привлекают ноги,
Глаза и бюсты милых дам.

Всё ярче свет воспоминанья
Давно забытых юных дней,
Всё затруднительней дыханье,
Боль в пояснице всё сильней.

Всё чаще просыпаюсь ночью,
Закрыв глаза, лежу без сна,
И в памяти гнесде сорочьем
Сверкает прошлого блесна.

Кружатся мысли, словно птицы,
Их стая дикая пестра.
Листая старые страницы,
Лежать я буду до утра.

А завтра будет новый день,
И будут новые заботы,

Но вот про эту хренотень
Писать, ей богу, нет охоты.

ШОПЕН. Вальс С-минор

Ручей шопеновского вальса
Журчит, по клавишам скользя,
И душу вечного скитальца
Вернее выразить нельзя.

Звонящим стоном тонкой стали
Струятся вместе свет и мгла
Той смесью счастья и печали,
Что входит в сердце, как игла.

СЛОВА

Я раб и повелитель слов,
Они вонзаются мне в душу,
Но я их приютить готов,
Я знаю толк в них, и не трушу.

Их пища - плоть моя и кости,
Я кровью сердца их пою,
Хоть их зазубренные ости
Рвут память бедную мою.

Я их люблю и ненавижу,
Они мой крест и мой кумир.
Но вот они созрели, вижу,
Пора лететь им песней в мир.

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Рисуют тени на стене
Портрет окна и занавески.

На эти солнечные фрески
Смотреть всегда приятно мне.

Легко прочерченный узор,
Цветы и сетка тонкой ткани,
Сродни переплетенным скани,
На жёлтом фоне тешат взор.

Картина движется лениво,
Всё ярче солнце, резче тень,
И наступает новый день,
Надеюсь, будет он счастливым.

* * *

Прежде, чем обидеть человека,
Вспомни: он когда-нибудь умрёт.
Завтра, через год, через полвека -
Это всё равно произойдёт.

Он уйдёт, и унесёт обиду
В неизвестность смертного пути.
Этот путь в окрестности Аида
И тебе назначено пройти.

Так не забывай, что все там будем,
Постарайся быть терпимей к людям.

* * *

Деревья демонстрируют стриптиз,
Роняя тихо свой наряд багряный,
А шустрый ветер, словно дилер пьяный,
Хватает листья и швыряет вниз.

Бесстыдно обнажённые стволы
Дрожат от стужи под холодным ветром,
А ветки оживлённо веселы -
Танцуют быстрый танец в стиле ретро.

И смотрит солнце хмуро и лукаво
Сквозь тучи на осенние забавы.

* * *

Заброшенный, пустынный полустанок,
Давно забытый и людьми, и Богом.
Упылый дождик сыплет спозаранок
Из хмурых туч невнятную тревогу.

Растёт трава меж плитами перрона,
По плитам ковыляет неуклюже
С хозяйским видом серая ворона,
Внимательно осматривая лужи.

Раздался гул – промчался скорый поезд,
Гудок пропел протяжно и тоскливо –
И смолкло всё. Кругом бурьян по пояс,
По листьям капли катятся лениво.

* * *

Когда почувствуешь укус,
Будь это клоп, комар или гнус,
Не тронь его, не хмурь ты брови, –
Теперь он брат тебе по крови.

* * *

Вся жизнь твоя – в твоих руках, мой друг,
Поэтому следи за чистотою рук.

* * *

Что из того, что чаша золотая,
Коль слёз моих она полна до края.

* * *

От счастья до горя – два раза моргнуть,
От горя до счастья – длительный путь.

* * *

Мы - дети нелюбимые войны,
Война нас обожгла и закалила,
И нам невзгоды многие смешны,
Покуда мы войну забыть не в силах.

* * *

Перебираю слова – самоцветы,
На нитку мысли нанизываю.
Я ожерелья звенящие эти
На белых листах записываю.

* * *

В ряду минувших огорчений
Мне не забыть багровый стыд
Высокомерных поучений
И легкомысленных обид.

* * *

Что есть поэзия? – Тень звука,
Дыханье тайны, эхо взгляда...
И никакая тут наука
Помочь не может. И не надо!

* * *

Не верьте Фрейда блудливой ментальности,
Не ищите во всём сексуальности.

* * *

Он верил Фрейдю слепо, до маразма:
Вставляя ключ в замок, он ждал оргазма.



ДО И ПОСЛЕ кубинистика, мариоры, жет



Марина Авербух

Родилась в Москве. В Германии с 1995 года. Публикации в альманахе «До и После» №№ 5-13; «Третий этаж»; в Антологиях «Русские поэты Германии».

С. 11.2005 - 2010 гг.

ГЛЯДЯ В ГЛАЗА

(из цикла «Медицинские истории»)

Этот рассказ – заказной... Заказ, правда, семейный, то есть безгонорарный, но почётный... Муж мой приказал – упрямил – умолил – убедил собрать на бумажных листочках всё (ну, конечно не всё, а лишь малую толику) из моих вечерних отчётных побасенок о дневных сеансах природиагностики...

Например, сегодня – август – среда, конец двадцатого столетия... Москва... Вполне перестроичный самоокупаемый (и неплохо) Медицинский центр «Доктор»... Кабинет «Ириодиагностики»... Три десятка лет тому назад таких кабинетов вообще нигде не существовало... Молодая наука... Молодая медицинская технология... Непонятная не только обывателю, но и большинству практикующих врачей-терапевтов.... Хотя уже не одно столетие опытные врачеватели видят в глазах наших не только душу пациента, но и тело – его скорби, его страдания и причины этих страданий...

Как наука природиагностика началась с шалости маленького, десятилетнего австро-венгерского графа... Мальчуган резвился в своих графских садах, забирался на деревья, разорял, как у них, у графов то есть, водится, гнёзда, сбивал их камнями... Обычная школьная любознательность... И однажды он добрался до совиного гнёздышка... Взрослые совы были на своей, совиной, охоте, а «дома» – в гнезде – оставлен маленький совёнок... Такой крохотный, но уже оперившийся, и,

конечно, с огромными круглыми желтоватыми глазами... Ну как его не взять мальчишескими шаловливыми ручонками! Совёнок пошнел, пораскрывал, скорее от страха, чем для остротки, свой желторотик, но юный граф был решителен и не пуглив... Что ему страшные голубые очи! Мальчик потянул птенчика за когтистую ножку, и она вдруг, поперим мальчику на слово, «сама» хрустнула и ...СЛОМАЛАСЬ! Жалко, конечно, птичку, жалко и её правую лапку... А далее произошло маленькое чудо!!! В правом глазу совёнка, на гладком блюдечке радужной оболочки вдруг появилась чёрточка... Она пересекла жёлтое поле слева направо и не исчезала... Мальчик с удивлением рассматривал и какого (на этот раз очень осторожно) птенца и его правый глаз... Оба притихли – птенец от боли, а мальчик от удивления и жалости...

Через двадцать лет молодой глазной врач граф Тетенкофер описал это своё первое наблюдение появления на радужной оболочке глаза нового, посттравматического изображения – артефакта... И сотни наблюдений за радужными оболочками – присом – и животных, и людей свелись в стройную, хотя и трудно объяснимую, систему приподиагностики...

...Мой кабинет приподиагностики... Двадцать квадратных метров кулезна для чужого здоровья площади... А я – в самом центре этого чужого здоровья и нездоровья... И окошком в чужой мир – радужка – фантастическое биосооружение – почти не имеющее толщины, зато сколько глубины!!!

Если уметь читать и расплетать узоры на радужной поверхности... Я – умсю ... Научили умные профессора...

И теперь это стало моим хлебом насущным, иногда и с маслом... С десяти до шестнадцати, с одним выходным в неделю, с постоянными дурацкими вопросами пациентов:

– Доктор! А вы гадаете, или как?

– Именно «КАК!» – отвечаю особенно нервным, уже глядя в свой «телескоп», через который я пробираюсь в бездны чужого горя и надежд...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

...Вот и сейчас передо мною, с другой стороны моего «телескопа» – то есть со стороны окуляра моей целевой лампы, уселся, настороженно бодрясь, бледнолицый новый посетитель собственных бед – не догадывающийся о предстоящем переломе своей судьбы, что случится через каких-то полчаса...

Мой пациент, хотя и чувствует себя не так уж и уютно, не сдаётся, а пытается по-мальчишески хорохориться, в душе надеясь, как это пытались чеховские герои, задобрить господина доктора каким-нибудь

задушевными рассказами о своих болячках... Как обычно, я приглашаю его сесть поудобнее и прилечь к окуляру...

(Если бы я знала заранее, сколько тысяч раз этот мой Николай Дмитриевич принимал к разнообразным окулярам внутри своих подводных лодок!). Но пациент упорно хочет поделиться чем-то из автобиографии... А мне уже многое стало ясно и по его движению от двери к моему столу, по напряжённой посадке головы, по настороженному взгляду (кстати, наличие явная экзофтальмия – попросту пучеглазие – надёжное свидетельство гиперфункции щитовидки)...

– Доктор, я хочу вам рассказать....

– Давайте, НД, вначале я посмотрю сама, сама же потом и попытаюсь всё, что увижу и пойму, рассказать вам, а вы уж потом и уточните, если что не так. Смотрю... Вижу... Рассказываю: – Родились Вы, НД, в жарком климате, ну, скажем, таком, как в Узбекистане... Жили там лет до 20-ти. Потом стали военным и служили не менее 10-ти лет на подводной лодке... На атомной подлодке тоже, и немало лет, и в непростых условиях...

И вдруг на окуляре взорвалась граната или нечто, напомнившее мне взрыв скороварки, в которой доваривался борщ... На меня уставились (уже поверх окуляров щелевой лампы) два разъярённых, сунувшихся до щелей, глаза пациента:

– Вы что, уже успели моё секретное досье прочесть? Где вы достали моё личное дело?! Оно же по первой форме засекречено!!! И продолжает, распаляясь, – Отвечайте немедленно, кто вам выдал моё дело?... Распустил вас Горбачёв со своей Перестройкой... Всех подкупаете... Ничего не бонтесь... Медки, тоже мне, нашлись... Деньги у трудового народа отбираете... Не верю вашей медицине и кооперативу вашему... Кабы не дура-жена, я в жизни и не пришёл бы к вам... И деньги-то – пустяки – десятка рублей всего... И где родился... И где родился...

Бунует, бунует, но пар помаленьку «из скороварки» выходит...

Конечно, белый халат как бы и защищает врача от хамства пациента-клиента, который «всегда прав», но более защищает знание того, что ты уже видишь – предвидишь, как он будет влиять и извиняться и скорбеть, когда ты ему, как Шерлок Холмс доктору Ватсону, разложишь весь насыщенный его бытия... Но нет мне радости от осознания своей правоты... На крик вошёл наш директор – Олег Иванович... Постою у двери, увидел, что ситуация штатная и под моим контролем и, успокоенный, вышел... Всё равно мне объясняться придётся с моим дорогим шефом... ..Теперь мой черёд солить... Тихо, как больному, объясняю, что какая бы ни была перестройка, ему, как человеку всё ещё военному, то есть по определению – законопослушному, ругать

Президента России, да ещё в почти что государственном Учреждении, не положено...

Пациент-книент даже малость то ли струхнул, то ли насторожился, но повёл себя уже явно толерантно... Тем более, успокаивая я его, моя профессиональная ориентация отлична от профиля его ведомства... А информация об его прошлом, настоящем и, увы, будущем, считана мною не с каких-то секретных бумаг, а с радужной оболочки его глаз...

– Но это же всё абсолютная правда! – вновь всполыхнул на мгновение пациент... – Даже с местом рождения не ошиблись!

– Вот как раз с местом рождения я случайно «книстила»! Это могла быть и Туркмения... И Таджикистан...И даже юг Азербайджана или Армении... Все южане – либо потомки южан – имеют тёмные глаза (чёрных не бывает вообще, пусть извинят авторы романсов!), ближе к баклажано-коричневому окрасу... Именно так окрашены структурные кистки вашего «приса» – радужной оболочки природным красителем – меланином, который защищает приса от солнечного ожога... Голубоглазые – светлоглазые (с минимальным вкраплением меланина) – обычно северяне или их потомки... Таков и вы, уважаемый темноглазый подводник...! Наверняка ваши глаза лет пять-десять назад были темнее...А лет через пять такой вашей производственной жизни они и вовсе посветлеют, поверьте мне на слово

Пациент слегка смутился, пробормотал извинения за крики и, как человек любознательный и волевой, в мягкой форме, не потребовал, но категорически попросил объяснить:

– Как это безо всяких анализов и даже вопросов мне удалось нащупать именно те болевые точки, что и привели его сюда, в медицинский центр... Бог с ним – с Узбекистаном...

Стандартная завершающая стадия моего обследования.... – А откуда известно, что я подводник? Неужто из цвета глаз?

– Нет, конечно... Приходится учитывать иные ваши признаки, и не только считываемые, и не только с приса ваших глаз... Скажите сами, какой род военной работы связан с очень длительным, чуть ли не многолетним пребыванием в затемнённом, лишённом солнца месте? Даже шахтёр, отработав свои часы в лаве, под землёй, возвращается наверх, к естественному солнечному свету... Вы же, мускульно крепкий, не истощённый мужчина, бледны как монахи...Какая это норма? Это я увидела и без целевой лампы, пока вы шли от двери кабинета... И даже в своём «очаровательном» гневе – это я тоже рассмотрела без прибора, извините уж за напоминание, – вы не смогли «разгореться» до «условно нормальной красноты»... Коже вашего лица не хватает

того же меланина – биокрасителя, который затемнял ванну радужку в годы раннего детства.

Он слушал внимательно и уважительно, как студент-отличник, собирающийся поступить ко мне в аспирантуру...

– Но окончательно всё подтвердилось на приборе... Кроме зернистых тел меланина, как узбекским ковром покрывающих поверхность ириса-радужки, на ней присутствуют так называемые «артефакты» – различной, иногда продолговатой формы, подобные линзам или листочкам, структурные элементы – они неподвижно встроены в радужку, обычно мало окрашены, но их число, размеры, форма, цветность, места расположения, группировка – всё это характеризует различные болезни – патологии, присущие вам и только вашему организму... Более того – их присутствие, в своей совокупности, открывает нам – природиагностам, когда возникла аномалия в вашем организме, как она развивалась и каково её теперешнее состояние... Более того – ваша радужная оболочка указывает на развитие или тенденцию к возникновению новой, для вас неожиданной болезни...

Будущий «аспирант» поднял руку для вопроса: – Значит, вы, Доктор, можете предсказать болезнь? Это уж совсем не по-материалистически... Парировую его условно профессионально:

– А вы можете предсказать, когда и куда прилетит выпущенная вашей подлодкой ракета?

– Но это моя работа! Я за это либо орден, либо выговор получаю – неожиданно откровенно пробурчал мой больной...

– Вот и я сегодня за вас получу выговор, а потом, ну, не орден конечно, а материальную компенсацию за нервную перегрузку...

– И на вашей радужке я тоже свой след оставил? Я готов загладить любыми законными и незаконными способами! (он даже в карман полез как бы за бумажником).

– Вы лучше оплатите визит к нам, будут вопросы у вас, у вашей супруги (кстати, поблагодарите её за командировку к нам: она была права!) И приходите, если что-то будет не ясно... Поможем... Ваше здоровье теперь будет под нашим контролем, но и вы о нём заботьтесь! На том и расстались.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Не стала я рассказывать своему вчерашнему пациенту-подводнику, что же я конкретно увидела на его радужке... Однако там мне открылась грустная история постепенного саморазрушения жизненной структуры человека... Я увидела, что в далёком юношестве мой подводник поломал ключицу и страдает от этого до сих пор – что-то около

тридцати лет... Примерно к этому же возрасту относится и залеченная теперь без последствий «Болезнь Боткина».

...На радужке нашего глаза все базовые жизненные органы имеют свои корнюнкулты... Располагаются они, как цифры на циферблате – по часовой стрелке: там, где цифра 12, спрятана (но не от нас, природодиагностов, конечно) вся больничная история нашей головы – и прежде всего мозга... А на цифре 3, например, многие данные о состоянии нашего сердца (это если речь идёт о левом глазе)... И так по всем цифрам-часам.

И между ними, конечно, природа прорисовала условные значки о пороках здоровья... На пяти – семичасовом интервале видна реальная судьба наших репродуктивных органов и их ближайших соседей... Как на маленьком глобусе помещается вся география планеты, так и на почти плоской радужке отражены ключевые элементы нашего состояния: Что? Где?, и читается биография нашей жизни – Когда?...

Вспоминаю, как много лет назад я предложила руководству одной серьёзной полубообщественной организации познакомить коллектив с моим «искусством». Природодиагностика – наука многовариантная, приводящая, однако, к вполне определённым рекомендациям... Чем не искусство гадания!?... И вот, для проверки и меня и моих методов, шефния подразделения предложила мне несколько анонимных фотографий радужных оболочек всемирно известных, как потом оказалось, лиц...

На первой из них я увидела радужку очень изношенного человека, хлебнувшего в своей жизни и хмельного, и сладкого и горького... Изображения (артефакты) в зоне печени характерны для типичного алкоголика... К тому же явён гастродуоденит – попросту гастрит желудка – и воспаление луковицы двенадцатиперстной кишки, и всё это на фоне повышенной кислотности. Перенесены всернические заболевания (не исключены и многократные)... Явён также ревматоидный артрит... А в зоне головного мозга есть знаки, говорящие об очень неустойчивой психике... Характер вспыльчиво-взрывной – (видны многочисленные кольцевые структуры, внешне подобные годовым колесам на спиле дерева); они говорят о перенесении многочисленных отрицательных стрессов... Хотя сейчас организм «объекта №1», как и вы теперь понимаете, отягощён многими недугами, но у него очень хорошая, по природе – генетика (плотные, правильной формы монооклеты), он (или она?) физически и психически от рождения очень вынослив: легко адаптируется к внешней среде... Явно занимался спортом в молодые годы...

На втором фотоснимке – ирис характеризует биологически взрос-

лого человека, родившегося очень слабым, с признаками многих возможных недугов, которые, к счастью для человечества! не реализовались в болезни, а редуцировались в слабые, не состоявшиеся патологии. Вся радужка настолько нормальна, настолько гармонична, без каких-либо привычных для моих многих пациентов отклонений, что позволило мне охарактеризовать этого человека как абсолютно здорового, предельно уравновешенного, и психически очень сильного...

Эти люди, как я узнала после наложения моего диагноза – реальные, всем, в том числе и вам, известные лица.. Клятва Гиппократа запрещает мне обнародовать (в таком медицинском контексте) их имена... Намекну лишь, что один из них – известнейший зарубежный киноартист, а другой – лауреат нобелевской премии, живущий в изгнании...

...Пока я размышляла, раздался нежный стук в дверь и в кабинет почти неслышно просочилась немолодая дама:

– Доктор! Я вас уже целый час жду... – заявила она, осторожно присев на краешек предложенного мной стула... Не глядя на меня, пугливо оглядывая кабинет:

– Доктор! Вы последняя из врачей, у которого я ещё не была – жарким шепотом доверительно проговорила она, продолжая при этом перебирать свои пальцы, словно разминаясь перед фортепианным концертом... Настораживаюсь...

На улице – жара в 25-28 градусов, а моя клиентка – в зимнем пальто с полувытертым цингейковым воротником. А на голове – когда-то белая войлочная панамка из курортно-туристского набора... Случайно взглянув вниз, я чуть не ахнула (профессионализм удержал), увидев на босых, давно не мытых ногах пациентки – домашние шлёпанцы... (Ну, держись, Марина Борисовна – сказала я себе про себя!)

– Я ходила даже к гадалкам – никто ничего у меня не находит... Мне так страшно... Вы не смотрите, я нормальная... Это муж у меня отобрал всю одежду и запер на ключик. Я его убью, как придёт от своей любовницы! Я всё про него знаю... Мне голубь утром, как сел на подоконник, так сразу всё и рассказала. Я за ним всё точно записала – и адрес и дом, и как зовут... Знаете, доктор – она чуть приподнялась над аппаратом – Я ведь понимаю голубиный язык, иногда даже не знаю, куда деваться от них, всё в уши кричат.

Ходила к «Ухо-Горло-Носу» – ничего не нашли... Сидит там такая толстая, на голове зеркало, а ничего не видит... Ничего... Сняла бы что ли своё зеркальце, чего народ дурачить.

Пока это всё доверительно, полупрошумом проговаривалось, я разглядела, что на мочках ушей пациентки висят странные серёжки –

прутики, корешки валерианы... Вот откуда этот навязчивый запах валерианы, принесшийся вместе с пациенткой! Перехватив мой взгляд, больная (теперь уже ясно и без придогнагностики – больная!) радостно и громко зашептала:

– Это я сама придумала – вставлять в уши корешки валерьянки... Они же успокаивают.. Только кошки стали за мной бегать и мяукать. Зато я сама немного успокоилась, а то голуби всё покоя не дают: «Полетай с нами, полетай!» А мы живём на десятом этаже – вдруг не найду обратной дороги и не прилечу на свой подоконник... Я же не голубь, всё-таки!

Незаметно для пациентки, надеюсь, хотя глаза её бегают по всем направлениям, я нажимаю спецкнопку и тремя звонками вызываю дежурного – дядю Мишу, бывшего санитара психиатрической клиники...

Через пять минут моя пациентка, увидев могучую фигуру нашего «геркулеса», как-то обмякла, в последний раз осмотрела весь кабинет и, взглянув на меня жалобно, тихо и вяло, совсем осмысленно, прошептала:

– Прощайте, дорогой доктор... Мне давно пора уже опять лечь и подлечиться. Спасибо вам за помощь...

Оставшись одна, я вдруг ощутила липкую, плотно обволакивающую усталость... Хорошо, зашла наша дорогая «хожалочка» – тётя Поля!

– Борисовна! Ты чё такая бледная? Счас я кофеёк приволоку, шоколадку погрызёшь – вот и отойдёт

Пока она ворковала, стукнул кто-то робко в дверь, и в кабинете появился букет бело-лиловых пучков дачной сирени, за которыми пряталось лицо мужа!

– Приглашаю всю придогнагностику на дегустацию вина и праздничного пива.

И исчезли все чужие «артефакты», болячки и патологии... Осталась наша Жизнь... Наша, и только!

Хорошо-то как!!! На этот день у меня более не было пациентов.



Леонид Бердичевский

САРА ШОР

Заметки о художнике

ДО И ПОСЛЕ публицистика, мемуары, эссе

С конца XVIII века, то есть с эпохи Гаскалы (еврейского Просвещения), когда была принята ориентация на восприятие европейской культуры, появилось отрицательное отношение к идишнестскому разговорному языку среди евреев-ашкеназов. Еврейские просветители (маскилим) идиш не принимали как оригинальный язык, но лишь как жаргон немецкого языка. Тем самым он, якобы, стоял на пути культурной интеграции еврейства.

Но в конце XIX века, несмотря ни на что, идиш всё-таки получил мощное развитие.

Новая литература, периодическая пресса, театр и прочие составные культуры находят своего читателя и зрителя. Во многих странах Европы и Америки появляется всё больше приверженцев этого языка, и он становится абсолютно полноценным в ряду других языков. Модернизация еврейской культуры в начале XX века и конференция в Черновцах с 30 августа по 3 сентября 1908 года, посвящённая именно этим вопросам, явилась важнейшим этапом в формировании идишнестской идеологии.

Изобразительное искусство, во всех его ипостасях, и народные промыслы не остаются от этого процесса в стороне. Появляются художественные студии, центры, частные школы, в которых обучается одарённая еврейская молодёжь, начиная с постижения «азов» грамоты изобразительного искусства.

Наиболее крупными среди этих школ нам видятся школа Иегуды Цина в Витебске и несколько позднее созданная Еврейская культур-лига в Киеве с филиалами в других городах. Из этих заведений вышла целая плеяда художников, выросших в крупных мастеров, которыми по праву может гордиться не только еврейское, но и мировое искусство.

Многие из них до конца своих дней остались верны еврейской тематике как в книжной иллюстрации, скульптуре, синепографии, так и в прикладном искусстве. К сожалению, некоторые художники либо напрочь забыты, либо остались почти неизвестными современным любителям и даже некоторым искусствоведам. Следует назвать таких крупных мастеров, как Б.Аронсон, И. Чайков, П.Хентов, М.Энштейн, С.Никритин, Н. Эльман, И.Рабичев и другие.

В этом ряду находится и Сарра Марковна Шор.

Сарра Шор родилась в небольшом городке Дубно, Волынской губернии (ныне Ровенская область, Украина) в 1897 году в семье ремесленника. Поступив в дубновскую гимназию, начала брать уроки рисования и композиции у преподавателя этих предметов, А. Рудченко (сильной студента Санкт-Петербургской Академии художеств). Это и определило дальнейшую профессию С. Шор.



В 1911 году она поступила в Киевское художественное училище. В классе живописи её руководителями были известные педагоги А.Н.Прахова и Г.И.Дядченко, позднее В.Г.Кричевский.

Здесь её однокурсниками были известные впоследствии художники И.-Б. Рыбак, А.Г.Тышлер, И.М. Рабинович, С.Б. Никритин и другие, внимание которых привлекали современные течения и новые разработки в искусстве. Первой коллективной выставкой, в которой приняла участие С.Шор, была выставка «Кольцо», организованная прославленными художниками авангарда А.А.Экстер и А.В. Богомазовым. Эта выставка и определила круг творческих интересов и поисков С.Шор в то время.

В 1915 году она окончила училище и сразу же поступила в Санкт-Петербургскую Академию художеств, где занималась в классе профессоров Г.Г. Залемана и В.Е. Маковского. Здесь она постигала академический рисунок, рисуя бесчисленную живую натуру и пейзажи, что пригодилось ей во всей дальнейшей творческой деятельности. Летние каникулы 1917 года она провела на Кавказе, где выполнила множество этюдов маслом и карандашом, однако возвратиться в Петербург не смогла из-за политических событий. Она переехала на Украину и стала преподавать в гимназии в городке Ходорков (там в то время жили её родные). В начале весны 1919 года она приехала в Киев. Здесь ей предложили работу в театре Соловцова (ныне Театр им. И. Франко), в котором она выполнила эскизы костюмов и декораций для Студии экспериментальной труппы В. Кузы, и одновременно включилась в работу Художественной секции Еврейской Культур-лиги. Организаторы и преподаватели лиги были одержимы идеей создания нового еврейского искусства: музыки, театра, изобразительного искусства, дизайна, литературных произведений.

Если в ранних её работах 1912-1917 годов, таких, как «Автопортрет», «Портрет матери», «Портрет сестры», «Битва ангелов» ещё заметно влияние М.А. Врубеля, В.А. Серова и, в целом, современного ей европейского искусства, то позднее она обращается к находкам кубофутуристов и экспрессионистов, но уже с композициями еврейской тематики. Это можно сказать о работах 1920-1924 годов – «Восход», «Всадник», также о сценографии к спектаклю «Бар-Кохба» и об иллюстрациях к книгам И.Кипниса «Майзелах», «А бер ис гефлойгин» и «Русские майзелах».

В это же время С.Шор выполняла работы для книг на украинском языке В. Короленко «В дурном обществе», Р.Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», «Букварь-радуга» и для других.

В конце 1923 года художница переехала в Москву и занялась ки-



лографией и офортом под руководством знаменитого мастера этой техники А.Н.Кравченко.

С 1925 года она участвовала в выставках общества «Четыре искусства» с графикой и живописью, выполненными ещё в поездках по Средней Азии. В 1927 году, совместно с А. Кравченко, оформила оперу Д.Чимарозы «Тайный брак» в театре имени В.И. Немировича-Данченко. В это же время сделала много эскизов для вышивок и тканей. Наряду со сценографией, живописью, дизайном, и станковыми работами, С.Шор много работает в области книжного оформления в технике офорта и ксилографии, делает экслибрисы (в частности, в 1929 году её работы на всемирной выставке в Лос-Анджелесе были удостоены первой премии). Результатом её сотрудничества с издательством «Academia» явились оформленные и проиллюстрированные книги, наиболее значительными из них являются: Светоний «Жизнеописание двенадцати Цезарей», П. Браччолони «Фацетин», Ф. Достоевский «Бесы», М. Горький «Стихи и легенды», Ж. Валлес «Детство», Н. Гончаров «Обломов» и многие другие.



С еврейской темой С.Шор не расставалась до конца жизни. В разное время ею написаны портреты деятелей еврейской культуры: О. Шварцмана, Д. Гофштейна, И. Чайкова, А. Эфроса, С. Михоэлса и других; а также серии из жизни еврейского местечка, начиная с «Дубно», «Местечко», «Бабушка у лампы», «Портрет отца», «Еврейская семья».

Последние годы жизни, чтобы зарабатывать на пропитание, она делала иллюстрации к пособиям для средней школы и наглядной агитации.

Умерла Сарра Марковна Шор в 1981 году в Москве. За всю долгую творческую жизнь ей позволили провести одну персональную выставку в 1945 г.

Думается, что всё её многогранное творчество давно уже ждёт обстоятельной монографии и большой персональной выставки, снабжённой квалифицированным каталогом. Дай-то Бог!



К 70-летию начала Великой Отечественной войны ПО ЛУЖКУ, ПО БЕРЕЖКУ

(воспоминание)

Чем становишься старше, тем чаще обращаешься к услугам памяти. Многое из того, что казалось безвозвратно утраченным, вдруг изливается с фотографической точностью. А другое, более важное, событие пропадает из памяти, как компьютерный файл. Но есть эпизоды, осевшие в нашем сознании навечно и наложившие отпечаток на всю жизнь. Прошло более полувека.

Вот и сейчас я словно вижу эту пару, которая прогуливалась напротив наших окон. Сидя у письменного стола, готовлю уроки. Поднимаю глаза к окну, провожая их взглядом. Мне они были знакомы. Примерно раз в два месяца родители приглашали их в гости. Мы с интересом слушали его. Она обычно молчала, внимая его рассказам. Лишь напоминала о позднем часе, о поре оставить гостеприимный дом. Звали их – Валя и Веня.

Родители знали, что Веня пишет стихи, но никогда их не читали. Лишь однажды, позднее, он подарил нам изданную «Музгизом» тоненькую тетрадку нот композитора Жаданова. Среди прочих была и песня на слова Вени «По лужку, по бережку». Эту строку вынесли и в заголовок тетрадки. Меня она забавляла и я, заглазно, приклеил её к Вене, в виде дразнилки. Отца это не на шутку рассердило: «Видишь ли, каждый человек имеет право задавать темн своей жизни. Одни мчатся по предложенной судьбой дороге, другие – не спеша, – по лужку, по бережку. Не стоит их судить».

Отец ещё до революции учился с Веней в одной гимназии, и был ихож в его дом. Жили они в собственном доме с прислугой, боннами, кухарками, дворником и экипажем.

Веня с детства изучал французский и немецкий языки, играл на фортепиано. Ну, словом жил в полном достатке. Революция сломала быт, и Веня не получил высшего образования. Родители вскоре умерли. Вене новые власти оставили небольшую комнату. Он пошёл работать в заводскую многотиражку, правщиком. Работа была скучной и однообразной: переписывал заново заметки рабочих, поступавшие в редакцию. Изрядно обносился, но не роптал, и принимал жизнь, какой она была. Не женился. Встречался с женщинами, но они, видя, что

встречи продолжения не имеют, уходили от него. И Веня затевал новый роман. Так длилось до июня сорок первого года, когда Веня зашёл в гастроном. Его внимание привлекла красивая женщина, восседавшая в кассе, как на троне. Он дождался окончания рабочего дня, и когда она выходила, заметил, что та прихрамывала. Это его не остановило. Он подошёл, представился и попросил разрешения проводить её. «Вы об этом не пожалеете?» – спросила женщина, – я ведь...ну, вы сами видите». «Что вы, пустяки» – ответил Веня, смущённый её откровенностью. Они шли молча. Первой нарушила молчание Валя (так звали женщину). «Вы ведь женаты, не правда ли – спросила она, – да иначе не может быть?» «Нет, холост, никогда не был женат» – ответил Веня. «Но ведь вы красивы, стройны, молоды» – не унималась Валя. «Я не могу содержать семью, зарабатываю мало, – сознался Веня. – а дамы любят комфорт, нищий им не нужен». Валя рассказала о себе.

Она жила на окраине города с мамой – машинисткой, отец исчез в гражданскую. Она почему-то прониклась к Вене доверием, сообщив: «Он был белым офицером, я его не помню». Так, беседуя, они дошли до Валиного дома и распрощались.

А через три дня воздушными налётами и разрывами канонады ворвалась война. Вскоре неприятель вошёл в город, заполнив его лающими воплями приказов и расстрелов. Два года длился этот ужас. Первый приказ, кричащий со всех домов и заборов, Веня запомнил, и он сопровождал его всю жизнь. Будил, заставляя рыдать спросонья, вскакивать с постели, натыкаясь на мебель. Память нельзя вымарать, как не понравившуюся строчку рукописи, её не излечить никакими лекарствами.

Позже Веня повторял этот приказ, как заклинание, пытаясь хоть на мгновение успокоить душу. Он шептал его даже наедине с собой: «Все жиды города Киева и окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября 1941г., к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтеревской (возле кладбища). Взять с собой документы, ценные вещи, а также тёплую одежду, бельё и прочее. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и объявится в другом месте, будет расстрелян». Согласно этому приказу Веня вошёл в огромную толпу евреев, направляющихся к Сырцу. Шли молча и покорно. Многие понимали безысходность последнего пути. Ведь сегодня был Судный день – Йом-Кипур. Это тоже запомнил Веня. После войны стало известно, что в Бабьем Яру были расстреляны 51000 человек.

При первом же выстреле Веня упал в вырытую заранее траншею. Очнулся глухой ночью, когда были слышны лишь карканье ворон и редкие стоны. Он был придавлен телами погибших. Подступало уду-

ния. «Я жив, – мелькнула мысль, – что делать, как выбраться отсюда, куда идти? Только не домой. Соседи и «полицай» вызовут гестапо, вернут и эту же яму навсегда». Так рассуждал он до утра и весь следующий день. Сохранение не покидало его. Вся жизнь, как кинолента, пронеслась перед глазами. Неотступно преследовал безответный вопрос «За что?» И ещё: «Нужно ли спасаться? К чему? Валя, – мелькнуло в сознании, – захочет ли, сможет ли, к чему ей? Как разыскать её домик, ведь она живёт в этом районе?» Веня не помнил названия улицы, номера дома, только занавески на крошечных окошечках. Ещё удивился: «Бельгийские кружева здесь, на окраине». Теперь их вязь отчётливо проявилась вместе с заборчиком вокруг домика. «Нужно попробовать, – твёрдо решил он, – слава Богу в сентябре темнеет рано». Он прикинул, на сколько метров надо подтянуться, чтобы выбраться из траншеи. «Не более двух-трёх метров, только бы не душил кашель».

Сумерки опускались легко и плавно. Вскоре всё погрузилось во тьму. Более получаса Веня выходил из своего страшного заточения. Вокруг тишина. Немцы были уверены, что в живых никого не осталось. Сперва Веня полз, но спустя двести метров стал продвигаться на полусогнутых ногах, медленными персбесками к силуэтам домиков. Ориентироваться в темноте было трудно. Наконец, он увидел их, почти просящих в землю. В одном из них жила Валя со своей матерью. Вот и знакомые занавески. Он робко постучал в окно. «Кто там?» – спросил глуховатый голос. «Ради Бога, откройте» – ответил Веня. Дверь распахнулась и на пороге возникла ещё не старая дама. «Я знакомый Валн, позвольте войти» – попросил он. «Откуда вы и почему так поздно, мы уже спим» – ответил голос. «Оттуда, из Яра» – только и смог ответить Веня. Тут появилась Валя. «Да-да, мама, это мой хороший друг» – подтвердила она. Веня переступил порог дома. «Он ведь еврей, ты знаешь, чем нам это грозит?» – вслух сказала мать, не стесняясь присутствия Веня.

– Но ведь нельзя допустить, чтобы убили человека только за то, что он еврей – ответила Валя.

Веню поселили в погребе, где обычно сохраняли овощи и всевозможную рухлядь. Из неё и соорудили ему нечто вроде лежанки. По два раза в день попеременно Валя и её мать опускали Веню что-либо из еды и поднимали ведро с нечистотами, что особенно было тяжело для Веня. Так длилось до 6 ноября 1943 года, когда город был освобождён от нацистов, а утром следующего дня Веню разрешили подняться наверх, – привести себя в порядок. Здесь он услышал настойчивый шёпот Валиной матери: «Ну, всё, твой гость может катиться на все четыре стороны. Я устала ухаживать за твоим жидом. Хватит». Веня не

удивился этой тираде. Он привык – такая атмосфера была и до войны. Появившись на кухне, он сел к столу. Позавтракав, поблагодарил за гостеприимство и направился к двери. Валя поинтересовалась, куда он идёт. «Домой» – ответил Веня. Он застал свою квартиру заселённой чужими людьми, но после общения с ЖЭКовскими властями ему освободили комнату, а вечером пришла Валя. Никогда между ними не было разговоров о войне, о Валиной матери и о прошлых событиях. Война подходила к концу. Мирная жизнь постепенно налаживалась. Валя возвратилась на прежнее место работы – в гастроном. Веню не принимали никуда, несмотря на то, что он был «белобилетником», т.е. имел освобождение от армии по состоянию здоровья. Случайное знакомство с композитором Жадановым помогло ему устроиться корректором в «Музгиз», но с условием о согласии Вени принять псевдоним. Теперь он уже был не Линберман, а Лиманов. Ему даже выдали на эту фамилию паспорт. Только в нашей семье Веню по-прежнему называли его подлинной фамилией. Вот и вся история с благополучным и незамысловатым концом.

Так память возвратила меня к детским воспоминаниям, к мыслям о войне, которая, казалось бы, уже очень далека. Но память цепка и не позволяет упасть в забытье.

Виктория Л. Жукова

МОЯ ЖИЗНЬ В БЕРЛИНЕ

Моя жизнь в Берлине длится уже семь месяцев и пора, наконец, познать её специфику и приготовить свое сердце либо отвергнуть этот город, либо полюбить неистовой любовью, какой я люблю Москву.

Красив, величествен, сдержан. Он напоминает английского дворцового. Его закаты и восходы вызывают восторг, от которого щиплет в глазах, и стараешься отвернуться, потому что долго наблюдать это зрелище невозможно. Хочется зажмуриться, чтобы познать, удалось ли тебе запомнить это великолепие.

Берлин разнообразен. То среди старых пяти и четырёхэтажных домиков, завещанных нам прежними архитекторами, вламывается пространство причудливый акселерат, хвастающийся стеклянными стенами, или ногами-колоннами, или разновеликими этажами, в которых даже представить трудно, как там могут разместиться квартиры или офисы.

Или за углом возникает парк. Ну, думаешь, сейчас пройдёшь несколько метров и опять очутишься на шумной улице. Однако идёшь-идёшь, и парк вдруг оказывается лесом и кажется, что тебя заманило, заморочило, присвоило, и ты внезапно становишься одним из многочисленных бессловесных его обитателей. Лес богат ими, да что лес, двор, или даже маленький зелёный промежуток между домами и тот заселён зайцами, ежами, а уж птицам нет числа. Всё свистит, курлычет, каркает и трещит. Воробьи, синицы, дрозды всех мастей, с ними соседствуют почти ручные сороки, а стаи ворон горделиво расхаживают по проезжей части. Но

ДО И ПОСЛЕ публицистика, мемуары, эссе

вдруг они затихают, и, поднимая глаза к небу, я вижу парящего орла. Всё, всем ша. Хозяин явился. Даже зайцы, торопливо выдергивающие травинки и косящиеся на проходящих людях, и те считают за благо побыстрее нырнуть в укрытие. И только вороны после некоторой оторопи начинают гомонить, дружно взлетают и всем миром кидаются на противника. Орлу не нравится вся эта суета и он, сделав прощальный круг, улетает, чтобы метрах в ста царственно усесться на ближайшее дерево, тут же растворившись в ветвях. Или, как дельтоплан в потоке воздуха, пролетает голубая цапля, а я думаю, надо же, значит правда, не соврали мне детские книжки, есть на свете голубые цапли, а значит, существовал и маленький лорд Фаунтлерой. Да и Кай с Гердой тоже жили где-то поблизости, вот хотя бы в том старом домишке, возле мельницы. Германия поистине страна чудес. И я несколько не удивлюсь, если в летнем сумраке любая улочка, пересекающая Фридрихштрассе, непременно выведет меня к морю. В воздухе разлито тепло курортного города, все столбики маленьких уличных кафе заполнены, на каждом углу цветут магнолии, а свет фонарей теряется в душистых гроздьях акаций. И ласковое море с нежным песчаным дном и бесконечным пляжем, усеянным переливающимися на солнце ракушками, уже готово принять меня в свои эфемерные объятия.

А что же люди? В толпе – такие же, настолько похожи на московских, что я иногда путаюсь, слыша чужую речь. Для себя я их разделила на три группы: кентавры, собаководы и пары. Остаются прочие, которые по мере проживания своей жизни, играют роли предыдущих, а также роли в неучтенных мною группах.

Больше всего мне нравятся собаководы. Неудивительно, сама такая. Здесь, так же как и в Москве, бушует братство. С каким интересом меня разглядывали вначале, когда я только появилась среди них... «Хелло и морген» я слышала уже издали, подходя к парку. Они улыбались и махали мне руками, совершенно искренне не понимая, почему я стою с растерянной улыбкой и отказываюсь с ними разговаривать. Старички и старушки поначалу, думая, что я глухая, пытались докричаться до меня, потом они поняли всю безнадежность затеи и теперь, немного попривыкнув и решив, что я просто странная, издали приветствуют меня, иногда вздрагивая от моего московского раскатистого «Р», когда я произношу в ответ – «Морген». Но всё-таки кое-как мы друг друга понимаем, они ласково окликают мою собаку по имени, а я благодарно глажу подбегающих ко мне страшненьких шавочек, которыми богат Берлин.

Следующую группу я недолюбливаю. У кентавров замкнутые, истовые лица, они мчатся на велосипедах и лучше не попадаться им на

пути. Мне кажется, что, находясь в другом измерении, они запросто могут проехать по нам точно также как и мы, шагая по лесным дорожкам, не замечая и губим разных букашек. Кажется, что они и едят, и спят на велосипедах... , а их дети рождаются сразу с колесиками. Когда-то они срослись с этими колесиками и стали другой цивилизацией. Иногда, чтобы совсем не потерять связь с человечеством, они нехотя спускаются на землю, и бегут, бегут размыная уставшие ноги. При этом выражение лиц у них не меняется, оставаясь таким же отрешенным и истовым.

И, наконец, третья группа – пары. С этой группой контактов нет. Они тоже существуют в своем измерении, куда посторонним нет доступа. Самые счастливые – старики. Они пережили, они дожили, они живы. И они вместе. Они ходят, держась за руки, может поддерживая друг друга, а может просто боясь отпустить, вдруг исчезнет... и тогда – одиночество. Оно везде одинаково и в Москве, и в Берлине. Следующие пары – мужчины. Тоже счастливы. Одеты прекрасно, нужно же поддержать конкуренцию и понравиться партнеру... Лица покойны и доброжелательны, двигаются неторопливо, вальяжно. В кафе и ресторанах сидят долго, о чем-то тихонько переговариваются или просто молчат. Но молчанье легкое, не обидное, иногда ласково проводят рукой по плечу друга, и тот улыбается в ответ. Им вдвоем хорошо, мне, глядя на них, тоже. Особняком стоят семейные пары. Эти идут по жизни, лица у них сосредоточенные, серьезные, как же иначе – перед ними стоит важная задача – продолжение рода. Государством на них возложена миссия и они постараются не подвести. И уже несут, везут, катят с чувством выполненного долга свое потомство. Мои поздравления.

Луна требует покоя и счастья, и я думаю: вдруг повезёт, и в этот раз всё сбудется...



Регина Лихтман

Родилась в Одессе. В Берлине с 1995 года. Публикации в Альманахе «До и после» №14.

ЧЕРТОВСКИЙ МОЙ СКРИПАЧ ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Продолжение. Первая часть в Альманахе «До и после» №14)

Мы отпрашивались поездом сначала в Вену, где могли окончательно выбрать себе чужбину, на которой будем в поте лица своего добывать наш горький эмигрантский хлеб. Помимо их исторической родины, евреев из Советского Союза принимали тогда США, Новая Зеландия и Канада. Прощание же с родиной фактической происходило на закарпатской станции Чоп, на границе с Венгрией и Словакией, до которой нас провожал для подстраховки Яшин двоюродный брат.

Всех заставили внести чемоданы в карантинную зону для таможенного досмотра; выйти оттуда до окончания процедуры было уже нельзя. Нам предстояло претерпеть последнее издевательство, которому родная страна подвергала бывших своих граждан, чтобы они подольше её не забывали.

Содержимое чемоданов, сумок и баулов таможенники выпаливали на огромные столы, и придирчиво осматривали и ощупывали каждую вещь. Смешно теперь вспомнить, но многие из нас везли на Запад даже вату и зубную пасту – то ли по советской привычке запастись дефицитом, то ли из желания сэкономить на предметах первой необходимости скудно обмененную валюту; так что все столы были покрыты горами размотанной ваты, свернуть которую обратно в рулоны было уже невозможно, а пасту досматривавшие просто выдавливали из тюбиков.

Но самым унизительным кошмаром был обязательный личный до-
смотр. Всех женщин по одной заводили в специальные комнаты, где
рослые таможенники заставляли их полностью раздеться, и с целью
пресечения возможных попыток подрыва социалистической эконо-
мики путем вывоза валютных ценностей, бдительно заглядывали в
самые интимные места, видимо, в поисках драгоценностей и брил-
лиантов, а также тщательно прощупывали швы их нижнего белья. В
общем, это был самый настоящий, по всем правилам строгого режима
проводимый тюремный шмон, с той только разницей, что мы были
не осужденными судом преступниками, а обыкновенными людьми,
все шна которых заключалась лишь в том, что мы уезжали навсегда.

Перед самым отъездом Яша купил у своего приятеля, скрипача ки-
евского оперного театра, скрипку известного французского мастера
конца восемнадцатого века Франсуа Пика. Все музыканты в Одессе
знали, что он играл великолепным смычком работы Ламин, стоимость
которого по западным каталогам того времени превышала десять
тысяч долларов; этот-то смычок оценщик Управления культуры и по-
требовал в качестве взятки за справку, что скрипка Пика – якобы фа-
бричная. Она была в закрытом, опечатанном футляре, к которому сур-
гучной печатью было прикреплено разрешение на вывоз. Ещё у Яши
было с собой пять смычков, вполне, впрочем, заурядных.

Когда таможенник увидел это музыкальное хозяйство, он сказал,
что на смычках печатей нет, хотя один смычок может стоить дороже,
чем пять скрипок, поэтому без повторной экспертизы ни смычки, ни
скрипку он не пропустит, а печать ему не указ. Ближайшим отсюда
островком цивилизации был райцентр Ужгород; мы наняли частную
машину и бросились туда. Нам с трудом удалось разыскать указанного
нам преподавателя местного музыкального училища, бывшего по со-
вместительству членом экспертной комиссии. В честь наступающего
Первомай он был уже слегка навеселе и, видимо, репетицию праздни-
ка спешил продолжить, а потому всего лишь за комплект дефицитных
тогда скрипичных струн «Томастик» написал нам документ, подтверж-
давший заключение предыдущей экспертизы, даже не потрудившись
взглянуть на предметы своего исследования.

По закону, отлучать нас от нашего багажа таможенники не имели
права, и мы тряслись от страха. Ведь в лучшем случае, во время на-
шего отсутствия, никто не мешал им украсть всё, что им нравилось, в
худшем же – подбросить в какую-нибудь ёмкость, где уже были наши
отпечатки пальцев, что-нибудь из ранее конфискованного, запрещен-
ного к вывозу, а то и наркотик. Такие случаи бывали (правда, с дисси-
дентами или политическими беженцами), и тогда вместо Вены люди

после всех пережитых мытарств отправлялись в родные советские лагеря. Но Бог миловал – у нас украли лишь шестьсот рублей: деньги, по тем временам, немалые.

Произошло это так. При нас была некоторая сумма на непредвиденные расходы и на неизбежные взятки, и после невольного осмотра достопримечательностей древнего Ужгорода у нас оставалось около шести сотен. Мы знали, что вывозить их нельзя, и законопослушно доложили об их наличии «нашему» таможеннику. За дверьми карантинного блока терпеливо ждал Яшин брат, приехавший с нами, чтобы забрать то, что не разрешено к вывозу из СССР, но честно заявлено и задекларированное, а потому не являвшееся контрабандой, имущество, с собой. Однако, «наш» в ответ только великодушно махнул рукой:

– Сколько? Шестьсот рублей всего?! Да ладно, забирайте...

До отправления поезда оставалось минут пятнадцать, когда в наш вагон вошли пограничники для паспортного контроля, хотя мы советских паспортов были давно лишены, и таможенники – для беглого осмотра пассажиров с языкасто-серпастыми советскими паспортами, следовавших по делам в братскую Чехословакию. Пограничник взял в руки Яшин выездной документ и внимательно сличил форму лба на фотографии с оригиналом, смирно сидевшим перед ним на нижней полке. Затем он проникновенно заглянул в его глаза, и удостоверился в том, что на фотографии разрез их идентичен: потом была отдельно сверена форма носа и губ моего супруга, затем – подбородок... Несоответствий не нашлось – он молча кивнул и протянул документ обратно. То же самое, согласно инструкции, он повторил и со мной, и удалился, вопреки инструкции не козырнув. И вот тут-то в наше купе зашел незнакомый таможенник, и проникательно прищурившись, как Феликс Эдмундович, приступил к делу:

– Советские рубли есть?

– Есть, – ответила я.

– Та-а-а... И сколько же, интересно?

– Около шестисот. Мы хотели оставить их родственнику, но ваш коллега сказал, что их можно взять...

– А, так вы собираетесь морочить мне голову! Никто вам такое сказать не мог: вывоз за границу советской валюты строго запрещен! Ну, так что же, будем составлять протокол?

Я открыла рот, чтобы начать возмущаться и качать права, когда Яша страшным шепотом прошептал мне в ухо:

– Отдай эти чертовы деньги, немедленно, и забудь про них!

Таможенник с оскорбленным видом засунул кушоны в карман ки-

тели и удалился – делиться с коллегой, наводчиком из карантинной зоны.

Кроме французской скринки, из других ценностей в багаже, отправленном нами из Одессы малой скоростью, среди банального чешского стекла удалось вывезти лишь несколько ваз работы Эмиля Галле, и пару блюд раннего кузнецовского фарфора, спрятанных среди непритребных тарелок. На следующий день мы в растрепанных чужих вагонах прибыли в столицу Австрии.

Вена была для еврейских эмигрантов лишь краткосрочным пересадочным пунктом. Расселением новоприбывших в столице вальсов занимались израильская и американская еврейские иммиграционные организации. Тех евреев, кто сразу заявлял о намерении ехать дальше в Израиль, с комфортом селили в арендованном ими старинном венском замке Сохнут; колеблющихся же в выборе страны, к ним относились и мы, распределяли по маленьким дешёвым пансионатам, которые можно было бы назвать клоповниками, если бы хоть один клоп в них был, и этим занималась организация ХИАС. Так что нас, например, поселили в «клоповнике» (уж прошу прощения за тогдашнюю малопопулярную общепринятую у нас терминологию) в одной комнате с совершенно посторонней пожилой супружеской парой. Итак, пятеро «колеблющихся» – и в одном номере... Или камере?.. Видимо, такое делалось, чтобы дать эмигрантам понять разницу между настоящим патриотизмом и обычной еврейской охотой к перемене мест – ведь нация наша уж и так веками находится в рассеянии...

После советской провинции, в которой мы родились, были воспитаны, да и прожили там вот почти уж полжизни, мы впервые получили возможность воочию увидеть пресловутое загнивание Запада. Родина Штрауса, нечаянно и пленительно вальсируя вокруг нас, дурманяла, кружила голову – и очаровывала сразу, совершенно и навсегда. Нас обворожили чистые, ухоженные улицы, по которым, как и сто, и двести лет назад с показьем ездили старинные фиакры с кучерами в барочных ливреях на облукке; с нами то и дело здоровались приветливые, со вкусом одетые незнакомые люди; отовсюду доносился непопторный тончайший аромат волшебного венского кофе... В первый раз в жизни я подумала, что это, может быть, и к лучшему, что мало денег – потому что, благодаря этому обстоятельству, у нас не было средств на транспорт, и мы исходили весь город пешком – а город того стоил!

Но себя не переделаешь: что уж тут скрывать, я всегда была несколько меркантильна, и мысль о безденежье меня грызла – а по-

тому я гнала Яшу, чтобы он при осмотре достопримечательностей не забывал о необходимости с выгодой пристроить в хорошие руки законно вывезенные три стограммовые банки чёрной икры и шесть бутылок наилучшего советского шампанского. Поэтому во время всех наших венских пеших экскурсий супруг мой всегда был обременён ценной ношей; я же к ресторанам и магазинам деликатесов проявляла, пожалуй, даже большее внимание, чем к памятникам архитектуры, и при виде каждого из них деловито отвлекала Яшу от созерцания прекрасного толчком локтя в бок.

Большим полиглотом Яша не никогда был. Однако с детства он говорил на шикарном идише, который в немецкоязычной стране, каковой была и Австрия, для иммигранта был даром бесценным: во всяком случае, его идиш был там всё же менее непонятен, чем мой одесский английский. Чёрная икра была куплена сразу, без лишних слов, и за достойную цену. А вот лучшее советское шампанское («Новый Свет») сплошь и рядом вызывало у потенциальных покупателей недоверие и недопонимание: ни разу не попробовав его, все рестораторы упорствовали в косном заблуждении, что настоящее шампанское производится почему-то исключительно во французской провинции Шампань – так что только блестящее владение идишем позволило Яше хотя бы избавиться за бесценок от лишнего груза, который иначе пришлось бы влечь с собой и дальше по скорбной эмигрантской стезе.

Мы провели в Вене около десяти дней, после чего были отправлены в Италию, в местечко Лидо ди Остия в предместьях Рима. Здесь ХИАС выделял эмигрантам определённую небольшую сумму в месяц, на которую нужно было и снимать жильё, и питаться – чем слаще ешь, тем жёстче спишь. Мы сняли комнату в частной квартире, которую наш, склонный после таможенного досмотра в Чопе к пиромании, сын, чуть не спалил; по крайней мере, за прожжённый им диван и порченный балкон нам пришлось платить. Я гоняла Яшу на местную барахолку, которая здесь называлась почему-то «американа», на предмет продажи кустарных изделий из Хохломы, каких-то коралловых бус и жостовского подноса, красуточных камней нашего будущего благосостояния. Кроме того, его финансовый гений позволил ему с выгодой толкнуть два серебрянных портсигара, которые нам чудом удалось вывезти в багаже.

На барахолке этой случались порой неожиданные и, в своем роде, даже трогательные встречи. В одесский предотъездный период в нашем домоуправлении работала некая паспортистка, которая после

того, как мы подали заявление на выезд, почему-то невзлюбила Яшу, и не упускала случая чем-нибудь по мелочи ему подгадить или навредить: ведь чем мельче «начальство», тем больше ему хочется подчеркнуть свою значимость перед людьми, хоть в чём-то перед ним зависимыми. Короче, крови Яше она испортила немало, и он был счастлив, когда оказалось, что она тоже подала заявление на выезд, и очень быстро, вероятно, как член КПСС со стажем, получила разрешение. После её отъезда он вздохнул было с облегчением, но не тут-то было...

Уже уехавшие из Одессы присылали из Италии ожидавшим разрешения на выезд письма, в которых сообщали, чем лучше запастись, чтобы получить на месте средства на первое обзаведение. Что информация, которую содержали эти письма, была написана эзоповым языком, сказать мало – скорее, она походила на шпионские шифровки, потому что все знали, что корреспонденция беззастенчиво перлюстрируется «компетентными органами». При коллективном прочтении одного из таких писем я однажды присутствовала, и не могла понять, что же это могло значить: «Старик Зильберштейн чихал на всех, а его молодые сыновья ходят без работы. Все скучают по Штаину». Я спросила об этом у одного из понимающе кивавших головой слушателей, который охотно перевел мне, что старинное серебро в Италии в большой цене, а вот современное совсем не котируется: «камушки» же с руками оторвут.

И вот в один прекрасный день, якобы случайно, шел Яша со скучающим видом по Александровскому садiku мимо будки сапожника, которая одновременно являлась тайным информационным центром для отъезжающих. При виде его, сапожник выскочил наружу, как чертик из табакерки, и конспиративно размахивая руками, крикнул: «Яша, Яша! Что же вы не зайдете, вас есть в письме!»

Письмо оказалось от этой паспортистки. Она открытым текстом писала родственникам: «Зайдите к Лихтману, улица Чкалова, дом девяносто девять, квартира пять, и купите у него серебро восемьдесят четырей пробы». Номер пробы означал старинное русское серебро... Яша был взбешён: ведь если письмо читали «где следует», можно было ожидать чего угодно – от отказа до отсидки...

И вот теперь, в Остии, он вдруг её встретил на барахолке! С победным криком «Ага, вот где ты мне наконец попала, стерва!» он, присев пониже и широко раскинув руки, начал медленно надвигаться на неё, как удав на кролика. Парализованная смертным ужасом, бывшая паспортистка не пыталась скрыться; белая, как полотно, она лишь смотрела на Яшу округлившимися глазами и умоляюще шептала:

– Яков Борисович, делайте со мной что угодно! Что угодно делайте, хоть бы здесь и при всех – но только не говорите этим, что я была членом партии...

Я прилежно посещала языковые курсы, пытаясь довести свой английский до такого уровня совершенства, который мне позволил бы в скором будущем понимать, как именно меня просят перешить юбку или надставить брюки, даже и в Канаде – потому что именно эту страну мы выбрали было как конечную цель нашего путешествия: вероятно, из-за обилия в ней похожих на наши родные берёзок. По определённым дням в Остию наезжали полномочные представители консульств принимающих стран, к которым потенциальные новые граждане этих стран вызывались на собеседования. И вот в ХИАС вызвали наконец и Яшу – на собеседование со служащим консульства Канады, который оказался женского пола. Эта дама попыталась дать ему подписать документ о том, что в Канаде он будет согласен на любую работу, от чего Яша отказался, сославшись на то, что, кроме игры на скрипке, он ничего не умеет. Узнав, что мой супруг и повелитель – музыкант, она сообщила, что из Виннипега в Рим прибыл лучший виннипегский дирижер, которому для полной свободы творчества не хватает sequer мелочи – музыкантов для своего виннипегского оркестра... Чтобы исправить это досадное обстоятельство, maestro изволил через одиннадцать дней произвести прослушивание всех евреев, из чем-либо играющих, а особенно – играющих на скрипках: ему было известно, что и Хейфец, и Ойстрах, и Коган, и Стерн, и Менухин, несмотря на свою зловедную национальную принадлежность, на скрипках играли очень прилично – а иных в свой оркестр он себе и не прочил. Яша со снисходительным достоинством большого художника сказал было, что для такого прослушивания ему потребуются адекватный блеску его таланта пианист-аккомпаниатор, однако консульская работница оказалась музыкально подкованной и мигом пресекала его непомерные амбиции, напомнив, что в мировом скрипичном репертуаре достаточно имеется и сольных произведений, например, Чакона Баха... И вот в первый раз в жизни я увидела, как мой муж по-настоящему занимается. Он забросил всё, и с утра до вечера, часов по десять в день, пилил этот виртуознейший опус – испероятно, но даже и на барахолку перестал ходить!

Наши планы нарушил приехавший в Лидо пианист, некто Маргулис, знакомый Яше еще по Ташкенту. Он начал агитировать нас ехать не в холодный Виннипег, а в Германию: и климат там, дескать, привычный, и березки тоже найдутся, и культура там типично наша, европейская, так что музыкант – профессия всеми уважаемая и хорошо

ошибавшаяся: к тому же триста сортов дешевых вкусных сосисок чуть ли не растут прямо на деревьях... Германия иммиграционной страной тогда не была и еврея из Советского Союза не принимала; но по Лидо напали бойкие подозрительные личности, готовые за деньги перевезти туда кого угодно нелегально, они уперяли, что в Германию нужно только попасть, а уж насильственно выдворить еврея из страны после её недавней истории там никто не решится.

И вот мы и еще несколько семей, всего одиннадцать человек, с которыми Яша счёл должным зачем-то предварительно познакомиться, заплатив по девятьсот долларов с носа, погрузились в маленький автобус, изображая из себя группу скучающих туристов. На крышу автобуса была для конспирации водружена надувная резиновая лодка, а у водителя в кармане на всякий случай лежала пачка чужих, но подлинных паспортов. Опыта пересечения границ по подложным документам у меня не было, и я, по обыкновению, тряслась от страха. Но никто нами не интересовался, никто нас не останавливал, и скоро мы благополучно прибыли в Мюнхен, откуда самолетом вылетели в Западный Берлин.

На первое время нас поместили в лагерь для беженцев и перемещенных лиц в Мариенфельде, построенный еще при Гитлере, где нам в четырёхэтажном общежитии была выделена комната с двухъярусными кроватями. Лагерь доброжелательно, но строго охранялся, и попасть на его территорию без специального пропуска, который тщательно проверялся на проходной, было невозможно. Там была столовая, где мы три раза в день получали простую, но качественную и сытную пищу (в обед – обязательно горячую!); кроме того, нам выдавали небольшую сумму на карманные расходы.

Начались опросы, более походившие на допросы, и проверки: мы должны были объяснить, почему приехали именно в Германию и с какими целями, почему оставили Советский Союз, кем там работали, и так далее. Нам была придумана какая-то запутанная и фантастическая «легенда» о Яшиной якобы принадлежности к немецкой культуре, но этот номер не прошёл – история эта получилась неправдоподобной до абсурдности, и нам, конечно, никто не поверил, хотя все чиновники от души веселились и, задавая уточняющие вопросы, которыми как бы подбадривали рассказчика на дальнейшие выдумки, всегда выслушивали их с видимым удовольствием и до конца. Однако действительно было видно, что выдворять нас из страны никто не собирается.

Кроме того, нас регулярно возили на настоящие допросы в штаб-

квартиры трёх разведок попеременно – английской, французской и американской. Западный Берлин был тогда разделён на три сектора оккупации, и контрразведчики подробно расспрашивали о настроениях среди знакомых советских офицеров, о военных объектах, где Яше, возможно, приходилось выступать, и даже о том, была ли в одесской консерватории военная кафедра... Целая серия каверзно сформулированных вопросов была направлена на то, чтобы установить, не являемся ли мы тайными агентами КГБ. Для нас, видевших военную технику лишь два раза в год на парадах, да и то только по телевизору, всё это было нелегким испытанием.

Недели через три проверки эти, наконец, закончились, мы поступили в распоряжение организации «Красный Крест» и пересели в район Целендорф, на шикарную виллу, ею арендуемую. Жили там такие же, как и мы, претенденты на место под немецким солнцем, и я, получив в подарок допотопную зингеровскую швейную машинку, начала добывать хлеб наш насущный, за символическую плату перешивая соседям штаны, и посещать курсы немецкого языка. Через столько лет так странно было снова почувствовать себя школьницей, каждый день прилежно «делать уроки», бояться опоздать на занятия, дрожать: «спросят? не спросят?... Но это ощущение возвращения в юность оказалось таким приятным!

Яша же начал готовиться к объявленному в прессе конкурсу в Оркестр берлинского радио. Мы уже знали, что в Германии музыкантов старше сорока лет принимают на работу крайне неохотно, а ведь Яше было уже сорок семь, и потому его подготовка отнюдь не ограничивалась банальными занятиями на скрипке. Владея только идущим, он так замысловато и интригующе составил с его помощью своё письменное резюме на немецком, что ухитрился не указать точно свой возраст, да так, что, отчаянно пытаясь разобраться в общем пространном тексте претендента, интендант оркестра этого пробела не заметил, и прислал-таки приглашение участвовать в конкурсе! Теперь Яшиной насущной задачей стало внешнее омоложение – юн душой он был всегда, но для работы в немецком оркестре этого могло оказаться недостаточно, только душу там могли и недооценить. И вот, при своей любви вкусно и обильно поесть, он соблюдал теперь строгие диеты, и на его несчастные, вечно голодные глаза невозможно было смотреть без слёз. В результате к моменту прослушивания он похудел на шестнадцать килограммов, и из увенчанного благородными сединами розовощекого жизнерадостного толстячка превратился в стройного невысокого блондина с томной артистической бледностью в лице, поскольку ещё и покрасил себе волосы. Однако все эти страдания его

оказались напрасными: хотя конкурс он в результате успешно прошёл, но место всё равно не получил – у него не было разрешения на работу в Германии, об обязательности наличия которого мы тогда и не подозревали.

Тогда Яша решил начать полулегально подхалтуривать в Берлинском симфоническом, тем более, что ему как раз подарили поношенный, но вполне приличный фрак, облачаясь в который мой супруг по-прежнему воплощал «достойную бедность», и эту концертную спонсорскую надо было как-то использовать. Но, увы, это благое начинание также закончилось плачевно, ощутило подорвав к тому же наш скудный семейный бюджет: после первого же «левого» концерта, за который он получил на руки сто марок, его вдруг вызвали на беседу в районный собес, где нам выдавали по семьдесят марок в месяц социальной помощи. Пригласивший его чиновник, схищно улыбаясь, сказал:

– Был я тут пару дней назад на одном концерте... Должен вам признаться, господин Лихтман, что Бетховена вы, на мой вкус, играли просто великолепно!

И вручил Яше официальное уведомление о прекращении выплаты социальной помощи в связи со злонамеренным сокрытием побочных доходов.

Но греху уныния мой супруг никогда подвержен не был, и Фортуна наконец взглянула и на него с благосклонностью, осенив идеей отрегистровать с одним из соседей по пансиону, мальчиком-аккордеонистом, программу из популярнейших скрипичных шлягеров, типа Чардана Монти, и предложить её в пивную «Фолькспах» на Лейбницштрассе, пригласив в новоспечённый ансамбль ещё и ударника, под гонорар каждого артиста аж в целые двадцать марок за вечер (напоминая, социальное ведомство выдавало Яше всего семьдесят марок в месяц, пока он не проштрафился). Оказалось, что завсегдатаями этого пивного заведения являются многие известнейшие персоны левого толка из мира литературы, кино, театра, радио, журналистики, телевидения. Среди них были: живший тогда в Западном Берлине Макс Фриш, Ханс-Магнус Энценбергер, Петер Шнайдер... Яшину начинание неожиданно пришлось там настолько по вкусу, что вскоре из-за обилия посетителей не только яблоку негде было упасть, но и человеку – ногу поставить: публики набивалось на экзотический ансамбль столько, что, страшно сказать, пиво приходилось пить стоя, будучи тесно зажатым со всех сторон другими ценителями прекрасного. Но это и понятно – что же может быть прекраснее хорошего пива, да под хорошую музыку!

Петер Шнайдер, сын известного дирижёра, в кабацкое музициро-

вание Яши просто влюбился. Он приходил в пивную каждый вечер, приводя с собой всё новых и новых людей из мира искусства: более того, он попросил давать ему частные уроки игры на скрипке, и заплатил двести марок вперёд, так что можно сказать, что это были первые серьезные деньги, заработанные Яшей в Германии честным трудом и не в обход закона. В газете «Моргенпост» появилась статья под заголовком «Русское трио побивает все рекорды». А однажды «русское трио», старавшееся, несмотря на баснословные двадцатимарковые гонорары, после триумфальных выступлений съездить ночью домой всё же с оказией, по возможности избегая таким образом необходимости оплаты такси вскладчину, подвозила жившая в Целендорфе дама, оказавшаяся продюсером одного из берлинских телеканалов. Во время поездки мой муж был, судя по всему, очарователен; во всяком случае, в результате вскоре о Яше сняли фильм, который транслировался в лучшее время, на второй день Рождества. Зная, что посмотреть его любопытно будет и нам, Макс Фриш с Петером даже привезли к нам в пансион на время просмотра телевизор.

Что касается меня, то по рекомендации одной из бывших Яшиных коллег по оркестру я устроилась на работу в фирму «Кунше», занимавшуюся пошивом эксклюзивных меховых изделий, и имевшую свой магазин. В мастерской работали сорок человек, и все они были высококлассными, но чрезвычайно узкими специалистами: пошив драгоценной шубы, цена которой могла равняться стоимости средней руки автомобиля, был от начала и до конца работой ручной, и каждый работник выполнял в этом процессе только одну определенную операцию. Для меня это было немного странно: я-то, с моей записанной в дипломе квалификацией «мастер верхней одежды», умела это всё, и невольно начала припоминать что-то из курса общественных наук родного техникума о преимуществах советского образования и бездушной, нетворческой капиталистической конвейерной системе... Но в этой системе были, надо признать, и свои положительные стороны. Не пропадало ни лоскутка обрезков меха (предусмотрены были мешочки с надписями «рысь», «голубая норка», и так далее), из которых потом кроили дешёвые наборные изделия, продававшиеся, разумеется, другими магазинами; здесь царил идеальный порядок, и никогда не было проблем с прикладными материалами, будь то подкладки или пуговицы... Когда в связи с уходом директрисы фирмы на три года в оплачиваемый декретный отпуск (вот бы нам в Одессе так!) я, как специалист универсальный, вроде Леонардо да Винчи в сфере кройки и шитья, была торжественно представлена собранному по такому случаю в полном составе коллективу самим шефом в качестве новой

его начальницы, Яша со смешанным чувством гордости и некоторого огорчения обнаружил, что его молодая супруга зарабатывает больше его самого, да притом ещё и стабильно...

К тому времени мы получили шикарную квартиру в районе Шёнеберг. Взятка за неё составляла две тысячи и интеллигентно называлась «абиганд». Новая жизнь начинала, наконец, налаживаться.

В сентябре 1976 года среди берлинских евреев прошел слух, что какая-то маленькая шведская туристическая фирма предлагает однодневный морской тур через Швецию в Ригу, для которого не требуются индивидуальные визы. Это был реальный шанс повидать родственников, оставленных в Советском Союзе, казалось бы, навсегда и всего-то через год с небольшим после отъезда! Поскольку, как все перелётные птицы, мы всегда поднимаемся с насиженных мест только стаями, возник ажиотаж, и путёвки были раскуплены мгновенно. Как уже говорилось, незадолго до этого телеканал SFB снял о Яше документальный фильм «Якоб из Одессы», за который мы как раз получили семь тысяч марок. По тем временам это были серьёзные деньги, на них можно было кутить, пожалуй, побольше, чем теперь на ту же сумму в евро, так что мы тоже в состоянии были позволить себе это небольшое путешествие. Как я мечтала обнять свою оставшуюся в полном одиночестве маму!

Отплывали из Травемюнде. У трапа пассажиров встречал капитан, будто бы сошедший с картинки из приключенческой книги: белый нарядный китель и фуражка с «крабом», светло-голубые скандинавские глаза и окладистая рыжая борода, непременная трубка... Это был его второй рейс по этому маршруту. Первый рейс прошёл буднично: пара десятков скучающих немецких туристов, тишина, порядок, рутина... И теперь он недоумевал: для чего сотни людей, штурмующих его судно, все как один орущих и галдящих на неизвестном ему языке, такие огромные чемоданы – ведь они собирались в течение всего лишь нескольких часов осматривать достопримечательности Риги! Через час после отплытия удивление его возросло: оказалось, что немедленно после размещения по каютам, несмотря на трёхразовое питание, входившее в стоимость тура, все его пассажиры поголовно начали поедать в холодном виде варёных и жареных кур, крутые яйца и прочую еду, захваченную на борт в невероятных количествах. Во всех каютах, куда он деликатно стучал, чтобы справиться, всё ли удобно господам и нет ли у них каких-либо пожеланий, играли в карты, пили водку из четвертьлитровых стаканов; тут же в густом тумане табачного дыма с визгом резвились склонные к полноте дети, на которых зычно цыкали их дородные мамашы... Шум стоял невообразимый, но капитан

уже не спрашивал себя, кто же эти люди: по нескольким известным во всем мире словам, которые постоянно повторялись, а во многих каютах и преобладали, он определил, что говорят по-русски. Однако удивление не оставляло его и достигло апогея, когда после всего выпитого и съеденного все сто человек вдруг одновременно явились к обеду с поистине немецкой пунктуальностью. Шведский стол опустел совершенно через десять минут. Капитан что-то там смутно припоминал про Достоевского, про непостижимость русской души... И вот теперь он постигал, что она действительно непостижима.

То ли согласно программе тура, то ли по технической надобности наше судно пришвартовалось у пирса какого-то маленького, богом забытого шведского (или финского?) островка, названия уже не помню. Мой муж зачем-то пошёл первым делом выяснять, есть ли тут музыкальная школа, а если есть, то достаточно ли она хороша и насколько силён её преподавательский состав; все прочие же, посмотрев на него с со скорбным сожалением, а на меня – с сочувствием, стройными рядами двинулись в единственный на островке универсальный магазин, поскольку иных достопримечательностей тут не было. Поскольку нога советского человека еще никогда не ступала на эту землю, аборигены были бесхитростны, наивны и беспечны, как дети. Уходя из дома, они и двери-то не запирали, а уж об установке видеонаблюдения, электронных, магнитных, инфракрасных, химических и прочих средств защиты товаров в магазине, равно как и о переодетых детективах, и вовсе не помышляли. Поэтому полки универмага заметно опустели (шутка ли, почти сто человек, и каждый стоит десятых!), и я потом полночи слушала, какие у кого охотничьи трофеи и какими разнообразными и хитроумными способами они были добыты. Все триумфаторы сходились во мнении, что было скучно и неинтересно; ведь в Берлине у них у всех всё есть, и поход в здешний магазин – лишь спорт, не более того... И сетовали на то, что не было сегодня обычного спортивного азарта, как, например, при посещении берлинского KaDeWe! А Яша сетовал на полное отсутствие здесь музыкальной культуры – музыкальную школу он так и не нашёл. В общем, остров не понравился никому!

...Мы входили в акваторию рижского порта. Когда капитан увидел, что пассажиры выволокли свои неподъёмные чемоданы и баулы на палубу, и понял, что они, кажется, собираются тащить всё это на берег, он распорядился объявить по судовой громкой связи, что высадка начинается через пятнадцать минут, и что туристы с однодневной групповой визой могут взять с собой, помимо того, что на них надето, только небольшую ручную кладь. Воцарилась непривычная тишина. Туристы, как громом поражённые, замерли в тех позах, в которых их

застыло это трагическое известие, точь-в-точь как в финальной сцене «Ревизора»: ведь в багаже находились подарки их родственникам, доказательства их благосостояния и процветания в новой жизни. Через минуту палуба совершенно опустела, а ещё через десять минут началось фантазмагорическое действо, которое я никогда не забуду.

На палубу один за другим начали выползать очень толстые и чрезвычайно причудливо одетые люди. На ком-то, несмотря на тёплый сентябрьский день, было надето кожаное пальто поверх кожаной же куртки, из-под которой виднелся свитер, на другом – три свитера и меховая шапка; сплошь и рядом попадались мужчины, на которых было сразу две пары брюк, и женщины, лет на тридцать опередившие моду того времени – в юбках поверх джинсов... Мимо меня величаво проплыла дама, ухитрившаяся за десять минут пришить к легкому красному плащу несколько шкурок голубой норки, так что он оказался богато оторочен воротником и манжетами.

Капитан застыл в шоке и смотрел, не мигая, широко открыв рот. А диковинно одетые люди всё прибывали и прибывали, и в этом хаосе и вдруг поняла, что потеряла Борю. Понесла его глазами и нигде не увидела, я дурным голосом начала звать его по имени. «Я здесь, мама», – послышалось совсем рядом. Оказалось, кто-то предпринимчиво напялил на него два женских свитера и шляпку, и я просто его не узнала... Со мной случилась истерика. Я плакала и от смеха, и одновременно от счастья: на причале среди встречающих я увидела свою маму.

Мне было два года, когда в Одессу вошли немцы. Евреев, в основном стариков, женщин и детей, сгоняли под конвоем в гетто, находившееся в соседней Николаевской области. Идти надо было пешком многие километры, многие умирали от голода и истощения прямо по дороге, и мама всё это время, прижимая к груди, несла меня на руках. Через год погибла моя бабушка, а мама, сильная молодая женщина, работавшая за двоих, сумела выжить, и только благодаря ей выжила и я.

Весной 1944 года Одесса была освобождена, и мы вернулись домой. Дворник Алексей, возвращая нам подушки, чайник с отбитым носиком и прочую немудрёную домашнюю утварь, бормотал удивленно: «Падло же! Поди знай, что жида вернутся...» Но ничего не пропало!

Отца я почти не знала. Перед войной его призвали в армию, а когда он вернулся, в дом зачастили его довоенные друзья. С ними он крепко выпивал, и тогда, поглядывая на маму, действительно очень красивую женщину, обращался к ним:

– Во, гляньте-ка, какая у меня красotka! И ведь сколько в гетто в этом людей погибло, а эта вон жива-здорова! Вы как думаете, как же ей это удалось?

Это повторялось изо дня в день, и наконец мама, не выдержав постоянного пьянства и грязных намеков, выставила его за дверь. Он нам не помогал, и я увидела его еще раз только однажды, перед самым отъездом, когда потребовалось подписать бумагу, что он, как отец, не имеет ко мне материальных претензий и не возражает против моего выезда в Израиль. без чего разрешение не давали. Он мне отказал, и обойти это препятствие было очень нелегко!

Поэтому мама была самым близким мне человеком: она не только дала мне жизнь, но и спасла её, одна воспитала меня, вырастила и поставила на ноги, всегда была мне доброй советницей и близкой подругой. И вот теперь я всматривалась сквозь слёзы в любимое лицо и с трепетом думала, какой же будет наша первая встреча после того, как я покинула её. Ведь в первом же письме ко мне она написала: «Как ты посмела, после этого страшного гетто, поселиться в Германии?»

Наш экскурсовод, латыш, встретивший нас у автобуса, сказал, что прекрасно понимает, что мы здесь не за тем, чтобы осматривать город, а приехали повидать своих родных. поэтому мы можем отправляться на все четыре стороны, с тем, чтобы быть на пристани ровно в шесть – а Ригу он покажет тем, у кого родственников нет. Несколько человек залезли в автобус, мы же отправились искать какой-нибудь ресторан, где можно было бы спокойно поговорить.

В ресторан, который мы выбрали, нас пускать не хотели: он оказался валютным, и обслуживали в нём только иностранцев, а мы-то говорили по-русски! Мы уже успели отвыкнуть от специфики ненавязчивого советского сервиса; но, гордо предъявив документы, из которых явствовало, что в Германии мы никто, из милости принятые беженцы, были с почтением впущены. Кроме мамы, приехали ещё моя двоюродная сестра и мама Яши, в свое время нередко махавшая перед моим носом пальцем со словами: «Милочка, запомните, я не для вас его учила». Мы заказали всё самое лучшее, что было в меню, и разговаривали, разговаривали... А темы были самые банальные – здоровье, как мы устроились, общие знакомые; всё было как-то буднично, как будто и не было этих полутора лет разлуки. Когда же пришло время расставаться, мы все вместе поехали в порт, где обнялись, расцеловались и попрощались: и опять было ощущение, что это навсегда. Нам не удалось отдать родным подарки, которые мы им привезли, поэтому мы просто отдали им все деньги, которые у нас с собой были, и поднялись на корабль.

Капитан, после всего увиденного давший себе слово ничему не удивляться и ни на что не реагировать, был поражен ещё раз. Вместо шумной беспорядочной толпы, бравшей на abordаж его судно при по-

садке, и одетой при высадке, как солдаты Наполеона при отступлении морозной зимой 1812 года, на борт, обнимались: по одному, по двое тихие люди с задумчивыми и просветлёнными лицами. Несмотря на прохладу прибалтийского сентябрьского вечера, одеты все были довольно легко: какие-то масочки, дешёвые тапочки и кеды из ближайшего магазина... «Не моя группа, ошиблись», – подумал было капитан. Но паспорта и билеты у всех были в порядке, и в полном недоумении он дал сигнал к отплытию. Он успокоился лишь минут через пятнадцать, услышав привычный звон стаканов, хохот и мат. «Нет, всё-таки наши», – с облегчением вздохнул он, и решил как-нибудь на досуге ещё раз пролистать Достоевского. Я уверена, что это был самый запоминающийся рейс в его жизни.

(продолжение в последующих номерах альманаха «До и после»)



Станислав Львович

Родился в 1934 году. Москвич. В Германии с 1995 года. Помимо научных трудов, пишет беллетристику: стихи и прозу. Публиковался в альманахе «До и после» №№ 5-13. Книга «Искренне говорю Вам» (четыре издания), в Антологиях «Русские поэты Германии».

ЗАЧЕМ ОН ЕЁ УНИЧТОЖИЛ ИМЕННО ТАК?

(Из неопубликованного дневника супруги великого писателя)

Наконец, закончилась эта ужасная, самоубийственная история. Пройдя через все муки преодоления гнева, возмущения, протеста, оскорблений, издевательств и намерений, устных и письменных утрат, я наконец-то поняла самое главное – это история про воздаяние за любовную неверность – новая форма, новый образец разрешения банального семейного конфликта – того самого адюльтера, которым грешат все семьи – или почти все – или буквально все, но части из семей удаётся затушить этот огонь нелегитимной страсти, вспыхивающей везде почти регулярно через два-три года, но не разгорающейся до размеров московского пожара 1812-года, когда только бегство и смерть возникали как единственные, да и естественные, результаты окончания чьего-то безумия и приведшего к нему чьего-то непростительного своеволия... То, чем постоянно, непростительно постоянно, грешил Лео, он же нестерпимо и невыносимо боялся обнаружить с моей стороны – какой же он безумец.

Да разве можно когда-нибудь и кому-нибудь урезонить ревность того, кто на своём грешном опыте знает лёгкость измен, слабость женских сердец и вседозволенность мужской греховности, столь ласково и проницательно поощряемой не только литературой, но и обычаями света... Есть нечто неотвратимое в сладком яде искушения, продаваемого на лотках чуть ли не на каждом углу и не только на столичных развалах, но и в самых укромных

уголках всех цивилизованных стран... Разврат воспет, узаконен, обожествлён... И так называемое уничтожение крепостного права сделало его общенациональным и общедоступным...

Но зачем же было наказывать смертью, да ещё такую механической, такой отвратительной формы (такой современной, такой общедоступной и тем самым уничтожающей и оскорбляющей достижения современного технического гения нашего века...)?

Я предлагала Ему иные, не столь омерзительные, способы самоуничтожения... Нет! Лишь через колёса, рельсы, станционные вокзалы, на глазах любознательной благородной публики – вот они новые формы гильотинирования...

За что же так ненавидеть хрупкое женское тело, доставлявшее радость, хоть и не освящённую обычаем и верой, но такую естественную, как само рождение ребёнка!!! И для этой казни-убийства опорочить всё естество страдальцы... Заставить её – и многократно – ощущать, абсолютно зазря, если не сказать – пустопорожне – ненависть к любому проявлению человеческого кем бы то ни было, встреченным в роковые предсамоубийственные часы.... Ежели перечислить те мимолётные, но столь ненавидимые и нелицеприятные ремарки, замечки, оглядки, которыми самоубийца, как бы прощаясь с ненавидимыми уже (да и без реальных-то, а лишь надуманных причин) человечеством – любимыми: простолудинами, аристократами, благородными, родными и повсе незнакомыми – клеймила и хулила всех подряд.... Это превращение очаровательной женщины в злобное человекоподобное существо, никак не заслужившее ни прощения, ни снисхождения, но лишь неумолимо, волей злого Рока, ведомой к гибели, сотворено в итоге и талантливо и омерзительно-настойчиво, словно ускользающая жизнь старательной осенней мухи, никак не улетающей из наглухо закрытой залы, а постоянно линнущей к вашим рукам, лицу, голове, столу, у которого вы сели, чтобы выпить бокал сладковатой мальвазины, даже к краю этого бокала – и нету сил и ловкости прогнать её, эту осеннюю, уже предназначенную природой к смерти, прочь...

Вся жизнь ваша в эти минуты испорчена – и поломана какой-то издорной настойчивостью вздорного насекомого... Вам уже безразлично – улетит ли эта муха в какую-либо оконную щель, или чьи-то лопкие и бездумные руки механически, какойнибудь иностранной хлопнушкой или, того интереснее, напустят на неё какое-то опасное и смертельное химическое облако – подарок зарубежных умельцев – вы будете равно спокойно, и равно бездушно, и равно облегчённо

довольны её исчезновением.... А что будет испытывать эта мушка, всего лишь взалкавшая на исходе своей беснущей жизни чего-то запретного, но так ею желанного – вам истинно безразлично и будет забыто через несколько секунд.... Даже не минут, а именно секунд...

Вот столько же секунд и будут обманутые гениальным писателем читатели вспоминать бедную, страдавшуюся самоубивицу....

(предположительно позже 1870-ых годов)

Из дневника супруги писателя

4-го декабря. Нынче Лёвушка, как это стало давно его второй хорошей привычкой и причудой, проспавшись, не хотел одеваться, а, будучи в своём теперь обыкновенном капризе и упрямстве, сел за свой рабочий стол и стал заново перерабатывать – то есть перечёркивать, перемарывать всё, накануне мною переписанное... На этот раз ему не понравились мои скромные вставки в его описание довольно интимного разговора Nicolas с графиней Марьей... Сцена сама по себе мало что решающая, но она настолько домашняя, настолько близкая мне, моему духу и воспитанию, или как говорят уже - мировоззрению (какое скучное и ненужно длинное и такое тяжёлое слово, но оно может стать для *populus* со временем весьма обыкновенным!?)... Сегодня он затронул одну из немногих моих чрезвычайно чувствительных струн... Нимало не понимая до сих пор ниисколько в воспитании детей, особенно малосмышлённых, но уже чувствительных настолько, что это и поражает меня и даже путает, Лео свёл все коллизии исключительно к упрямству и желанию всё, находящееся под ручонками дитяти, поломать либо испортить... „...Наказывать, не давая сласти, – только развивает жадность“ – разве только жадность? Непроста же Николенька, ещё в одной рубашке, выскочил ко мне и разрыдался, целуя меня и захлёбываясь от слёз, стал уверять меня в своём полном понимании вины (Ах, Боже, да и вина ли эта вовсе?)... Отца, самого лицепённого возвышенных качеств и порою глумящегося над нашей тягой к добродетельным поступкам, можно было бы понять, но простить я этого в нём не хотела никогда и не хочу...

Переписав всю сцену с славным Николенькой, я, вопреки обыкновению, ограничилась лишь исправлением некоторого числа опусок и ошибок... Но что-то, а я понимаю это „что-то“, заставило Лёвушку, вопреки обыкновенности, возмутиться моим (естественным для него!) вторжением в „его!“ текст... Быть может, виноват также и вчерашний крупный проигрыш в Английском клубе? Или кто-то из отставных генералов опять пристал с надоевшими Лео пустыми ремарками к опи-

санию батальных сцен... Но я, как и прежде, докажу ему его неправоту и необходимость черпать вдохновение не только из собственных заблуждений, но и из реальной жизни нашего круга...

А ежели он будет непозволительно упрям и непонятлив, то придётся, как говаривала берлинская Шарлотта, – «отослать обратно все подушки»...

Увы, эта мера меня устроит на ближайшую пару недель, но позже он сам придёт ко мне с очередной повинной и накопившейся за эти дни пачкой ни на что не годных черновиков!

(предположительно, ранее 1880-го года)

-ПОЖАР МОСКВЫ 1812 ГОДА-

Выписка из дневника супруги писателя

В то такое давнее утро ЛЕО осознал: пришла пора прикоснуться к тому страшному и необъяснимому – правда, уже многократно объясняемому, но всё достаточно неверно, а то и сознательно облыжно, словно объясняемому как нечто постыдное, неприличное, случившееся по неизвестно какой причине, а то и вовсе безо всякой видимой причины, хотя и происходившее на глазах сотен тысяч людей – и коренных москвичей, и простолюдинов и даже аристократов, но также и на виду у тысяч иноплемennых завоевателей – не только французов, но и давних врагов Москвы – поляков, и многих иных иноверцев... Это фатальнейшее событие в жизни древней столицы земли Русской кратко, до оскорбительности кратко и почти бессодержательно, именуется как «Пожар Москвы 1812-го года», хотя лапидарность наименования лишь стущает скорбь, несчастья, героизм, щедрость и жадность многоплеменного населения Москвы в эту страшную зиму иноземного нашествия и надвигающегося насупротив него народного неповиновения, превратившегося в Народную Войну... Полагают, что Московский пожар во время нашествия Наполеона в 1812-м году, в котором выгорали барские усадьбы, сады этих усадеб, флигеля и иные дворовые постройки, а также дома московских горожан и даже каменные церкви, и послужили единственной причиной бегства французского войска из воспламенённой российской столицы... Как обычно, любое дотошное описание правдивой картины верно, в лучшем случае, только наполовину... Оккупировавшим Москву французам очень скоро стало ясно, что ни за какие награбленные в Москва богатства и даже ни за какие привезенные из Парижа денежки французским фуражирам не удастся купить у русских мужиков ни клочка сена для драгунских лошадей. Мужики подмосковных деревень предпочитали сжечь

свое сено, но не отдавать его оккупантам... И эти сенные пожары были более губительны для французского воинства, чем горение деревянно-каменной Москвы... Та самая народная дубина, которой русский колотил и изгонял француза, освещалась огнём народного факела... (предположительно позже 1885 года)

Извлечения из дневника супруги писателя

Как неприятно, стыдно, тяжело и противосовестно даже пересчитывать, и при этом заново самой переживать, перемучиваться, перестрадывать прошедшие во времени, но не ушедшие из сердца и памяти, эти, вечно, к моему несчастью, живущие в моей измученной противоречиями душе, годы нашей совместной жизни... Да и можно ли назвать её совместной? И в чём именно её была совместность??? По его нескоропёжному мнению жизнь женщины – лишь удовлетворение её плотскости... Вне этого – всякие увлечения музыкой, учительством и просвещением бедного народа, сочинительством и тому подобным – лишь блажь и ненужность...

А в этой плотской жизни нет ничего лучше безграмотной деревенской крестьянки... Особенно, если она не замужем... Вот что получилось, если до 34-х лет не иметь близко никакой порядочной женщины...

И какова цена всем его учениям, если он никогда не был искренен, и лишь тогда высказывал ОН – настоящий, когда я становилась, вопреки его привычкам – сама собою любящей чистоту – и во внешнем, и внутреннем, и обнаруживала такую ненужную ему активность, любящую музыку, цветы, чтение, со стремлениями к свободе и самодельщине... Его же идеал – женщина пассивная, физически здоровая, бессловесная и без воли... А если нет, то его мучит всё и вся: и моя любовь к искусству, и моё учительство, и чтение биографий великих музыкантов и античных писателей и философов (да какие они великие, когда велик лишь ОН, один!), а моя же любовь к ним, совершенно не мешающая мне его любить как и в прежние годы, моментально вызвала в нём ненависть, даже к давно умершим...

О каком «всепрощении» ему рассуждать, а тем более призывать народы, если сам он порой был бессмысленно-беспощаден, считая себя правым и справедливым в своих вздорных капризах ...

И вчера, и сегодня и всегда он был против свободы и так называемой равноправности женщин... У женщины, мол, лишь одна цель – половая любовь... Вечный, заставляющий меня страдать, циничный взгляд на всё естественное-человеческое между людьми, и постоян-

ный нескончаемый протест, сопротивление всему, абсолютно всему человечеству, а что же ему тогда и не протестовать против меня, самой беззащитной перед его неприятием самого нормального «во человеках»... Обвиняя нас в плотскости, он сам не раз был безудержно, словно боготворимый им мужик, груб и бесцеремонен: чего стоило ему прямо в своих знаменитых самодельных сапогах, тех самых, что он порой шил по просьбе своих литературных приятелей, нераздетым заваливаться в супружескую постель! И никакого раскаяния за своё скотство, непроситое даже и для крестьянского мужика. Хорошее же зеркало русской крестьянской революции, как писали некоторые радикалы, и хороша же будет эта революция, если так вот она будет относиться и к женщине, и к цивилизации...

Слава Богу, может до неё и не доживу, но каково это будет для моих детей!.. И вечные упреки по любому поводу, да и без оного: зачем продаю Его книги, что я, мол, забываюсь, что он может ЗАПРЕТИТЬ продавать Его книги, забыв, что на эти же деньги доставляю его верховую лошадь, его снаряжу и фрукты, его благотворительность, велосипеды и пр., не я пользуюсь деньгами, а больше всего его дети, которых он забросил, не воспитал и не приучил к работе, а сама меньше всех их трачу, а запрети он продавать книги, • и я уйду на себя работать, в классные дамы, корректорши и т.д. Я люблю труд и не люблю жизнь, поставленную всю не по моему вкусу, а по инерции и по тому, как её поставила семья – муж и дети».

(март-апрель, 1998-й год)

Кандалякна 22.6.41 17 ч. 10 м.
 Дорогая Соня! Наступил день,
 которого я давно желал. Как
 скоро Гитлер лишний раз пока-
 зал свое вероломство и вынудил
 нас воевать именно сегодня – мы
 сегодня же начнем его бить.
 Всё имеет свою хорошую сторону.
 Фашизм – самая злокачественная
 опухоль на теле современного
 человечества, она опустошает
 тело и душу современного мира.
 Гитлер вынудил нас ускорить
 операцию, которая избавит мир
 от этого зла. Я уверен, что эту
 операцию мы проведем успешно,
 что мир наконец будет очищен
 от фашистской нечисти.

Генриетта
 Ляховицкая

ДО И ПОСЛЕ убийства, мемуары, эссе

Кандалякна 22.6 - 41 17 ч. 10 м.

Дорогая Соня! Наступил день, которого я давно желал. Как
 скоро Гитлер лишний раз показал свое вероломство и вынудил
 нас воевать именно сегодня – мы сегодня же начнем его бить.
 Всё имеет свою хорошую сторону. Фашизм – самая злокачественная
 опухоль на теле современного человечества, она опустошает
 тело и душу современного мира. Гитлер вынудил нас ускорить
 операцию, которая избавит мир от этого зла. Я уверен, что эту
 операцию мы проведем успешно, что мир наконец будет очищен
 от фашистской нечисти.

ПИСЬМО ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ

Прошу, посмотрите на дату в письме. Те, у кого при взгляде
 на неё сожмётся сердце, поймут, в начале какой именно войны
 набросаны эти торопливые строки:

Кандалякна – порт на Белом море. Там, отвоевав в Финляндии,
 отец был оставлен на службе. И настал день нападения
 фашистской Германии на СССР. Для меня – это первый день
 страшной Войны.

Семьдесят лет минуло... Слезы мешают мне смотреть на
 такой знакомый почерк. Тогда отцу было исполнилось тридцать
 четыре года. Нет, нет, он каким-то чудом не погиб, пройдя всю
 Войну. Убит был его брат, защищая блокадный Ленинград, где
 умерла от голода их мама – моя бабушка. Жена брата тоже не
 выжила – умерла родами вместе с новорождённым...

Письмо послано в Ленинград, моей маме. Отец просил её быть мужественной, не падать духом, беречь нас – детей. «Мы свидимся и будем счастливо жить», – уверял он. И нам повезло – мы выжили, и свиделись, и жили... счастливо? – в той мере, в какой это было возможно в нашей не слишком счастливой стране...

Моё детство, с трёх до семи лет, припало на ту Войну. До сих пор болезненно присутствует во мне гнетущее ощущение её безмерной бедственности. Оно возникло сразу, в тот самый первый день, порождённое почти осязаемыми волнами страшной тревоги взрослых. Оно нарастало день ото дня, питавшее особо тягостным для детей разрушением привычного уклада жизни, частыми рыданиями отчаявшейся матери с моими невольными ответными слезами, холодом до обморожений, мучительным зудом от вшей, непереносимым, навсегда вьёвшимся голодом... Травмы из детства – они не только на всю жизнь, но, как теперь доказано, могут ещё и передаваться по наследству детям и внукам физическим нездоровьем и ранимой психикой. Вот только память не сохраняется в succeeding поколениях, и они не понимают, что это такое – Война.

Спустя три десятилетия от того дня была я однажды внезапно разбужена ранним звонком в дверь. Открыла. На пороге – близкий знакомый, но почему-то в военной форме. ВОЙНА! – жутко сверкнула мысль, и на секунду я потеряла сознание. Оказалось, что он был призван на трёхмесячные воинские сборы и зашёл перед отправкой попрощаться...

Но вернусь к письму, которое впервые прочла уже будучи взрослой, и была возмущена словами «наступил день, которого я давно желал». Как можно желать такое! Но постепенно осознала, что это сказано человеком, давно появившим суть фашизма и неотвратимость схватки с ним. Говорят, что перед боем страшнее, чем в бою, – отсюда желание взорвать тягостное ожидание неизбежного и, наконец-то, начать действовать.

В другом письме, от 30.04.1942, отвечая маме на вопрос, как долго ещё будет длиться разлука, отец пишет: «Мы с тобой, как и вся страна, одинаково хотим, чтобы разлучница война кончилась скорее и при том единственно так, как она должна кончиться: победой полной, такой победой, чтобы не пришлось перевоёвывать».

А вот слова из письма от 9 мая 1945 года: «Родная! Подыми письмо, которое я написал тебе 22.VI-1941 г., когда над моей головой пролетали армады юнкерсов. Оно вероятно сохранилось у тебя. Задача выполнена. Дорогой ценой. Затрачено жизни, сил, нервов не за 4, а за 20 лет. Это не говоря о тех, кого уж нет с нами, чьей кровью завоёвана победа».

Мамы давно уж нет, и отца тоже. Но я выполняю просьбу и «подымаю» то письмо первого дня войны. Лист бумаги – пожелтевший, с неровными

краями и строками, которым 22 июня 2011 года исполняется 70 лет. Всё – подлинное, без подчисток и изменений, как заверил бы нотариус. И слёзы мои подлинные. Они – от непоправимости прошлого и от нестерпимого страха – как бы «не пришлось пересобирать» в настоящем.

Мой детский ужас перед Большой Войной только усиливается с годами. Людям недостаточно природных катастроф. Им требуется всё более убийственное оружие, которым можно выгодно торговать, если умело вызывать непрерывные малые войны, используя национальный и религиозный фанатизм, экстремизм, терроризм... Детей учат ненавидеть и убивать. Они быстро усваивают эту науку, будь то в электронных играх или в военнизированных лагерях. Из них делают живые бомбы, и заставляют родивших их матерей гордиться гибелью своего ребёнка-смертника... Мне не дано понять, почему человечество само ввергает себя в непоправимое будущее, и мне страшно.

ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЯНИН И ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА

Впервые... Это случилось 12 апреля 1961 года: впервые, во всяком случае – на исторической памяти, человек взглянул на Землю со стороны. До того дня о земляках говорилось лишь в научной фантастике. Гагарин – первый реальный землянин в Космосе – человек с планеты Земля.

Тот апрель в Ленинграде был первым месяцем моей «службы» после студенчества. Жёсткая дисциплина вне связи с работой, бессмысленная отсидка «от звонка до звонка», вход и выход строго по пропускам – навсегда лишилась я последних остатков личной свободы. Но даже военнизированная охрана не смогла задержать меня, когда, едва услышав сообщение по радио о космическом полёте, я пулей пролетела через проходную.

Уже не помню, как добралась до Невского проспекта, заполненного ликующими людьми. Поначалу как-то удавалось улыбающимся милиционерам проводить за собой троллейбусы и автобусы, вежливо уговаривая граждан расступиться, но вскоре транспорт встал. На его крыши забирались молодые люди, на одежде которых мелом было написано по одной большой букве. Парни брались за руки и образовывали замечательную живую надпись: «Г-А-Г-А-Р-И-Н». Некоторые шли, вздымая над головой носовые платки с чернильными лозунгами: «Ура!», «Мы первые!», «Я – следующий!»...

Впервые в жизни участвовала я в свободной, несанкционированной властями стихийной демонстрации. Советские граждане впервые осуществили своё право, якобы гарантированное Конституцией. Ни до, ни

после того, особого, апрельского дня это было nonsensum. Все стекались на Дворцовую площадь, где уже появились импровизированные эстрады на грузовиках с откинутыми бортами. На одном из них пели несусветные частушки: «Мы в аптеке дуст купили, сыпали – старались, всех соседей отравили, а клопы остались». Но им добродушно прощали неподходящую к случаю тематику и даже аплодировали.

Народу всё прибывало. В плотной массе людей кто-то закричал от боли. Поняв, что так могут и раздавить, или, если упаду – растоптать, я стала неистово протискиваться в сторону Эрмитажа к паранесту и меня вытянули на него за руки дюжие ребята.

Пережитый страх не умерил моего восторга от великого свершения. В тот же вечер я написала посвящённую первому космолётичку романтическую научно-фантастическую поэму «Двое в вечности» о суровом Землянине, в огне и грохоте ракетных дюз опустившемся на планету у звезды Вега, и о прекрасной Вежанке, отдавшей ему свое сердце. Вот начало поэмы:

*Планета светлая близ Вегги –
исполнена добра и неги.
На ней, ни разу не страдая,
жила Вежанка молодая.
А на Земле, в глуши Вселенной,
Землянин – лётчик жил военный –
суровый, ищущий, и страстный,
смотрящий в небо, и прекрасный.
Однажды, в пламени и дыме,
в полёт за звёздами седыми,
туда, где вечный зов вдали,
корабль направил сын Земли...*

На следующий день, на работе в своём научно-исследовательском институте я заключила пари на бутылку коньяка (так потребовали спорщики), с уверенностью заявив, что до 1971 года нога человека коснётся Луны. Никто этому не поверил. В июле 1969, когда предсказание сбылось, я была в отпуске. Мне позвонили и, признав мою правоту, испросили разрешения самим распить проигранный коньяк за успехи человечества в Космосе.

Надо сказать, что первоначально, вечером 12 апреля 1961, в поэме было написано «...А на Земле, войной смятенной» вместо теперешних слов «в глуши Вселенной». Меня поразило тогда, что всего через двадцать лет после начала Отечественной Войны наша страна сумела впервые в истории послать человека в Космос.

Романтическая эйфория, однако, не помешала мне заметить одну важную деталь: лётчик был военным. Лишь много позднее, по мере информационных прорывов, приходило понимание истинной цены полёта в Космос и неоднозначности его причин и последствий. Ведь событие это произошло на пике холодной войны. Всего через четыре месяца после него, в августе 1961, в ГДР началось возведение Берлинской стены. Бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт обратился ко всем солдатам и офицерам с призывом ни в коем случае не стрелять в соотечественников из Восточного Берлина. Власти ГДР распорядились провести дополнительное обучение стрелков и дали приказ расстреливать любого из своих соотечественников при попытке бегства на Запад. Прибитый фашизм кроваважно облизнулся...

Мир восторженно чествовал первого космонавта, взлетевшего на ракете с Земли в небо, а два противостоящих военных блока начиняли атомными боеголовками такое количество ракет, что даже части из них хватило бы для уничтожения земной цивилизации.

Недавно в Интернете опубликовано неизвестное фото молодого Юрия Гагарина, на котором он, в военной форме со Звездой Героя, держит в руках белого голубя и счастливо улыбается. Голубь словно обнимает его руки своими крыльями... Военный лётчик и символ мира. Не думаю, что увидав Землю из Космоса, он позабыл своё военное детство и хотел, чтобы снова началась бойня.

И планета наша на фотографиях из космического далёка такая прекрасная, мирная, уютная: не видно ни гонки вооружений – тех же ракет как оружия массового поражения; ни разжигания национальной и религиозной вражды для поддержания постоянных «малых» войн, необходимых для сбыта оружия; ни безумных диктаторов, ни терактов; ни разных техногенных катастроф, к примеру – от «мирного» атома или от нефти; ни гибнущих тропических лесов – лёгких планеты; ни истощения недр; ни загрязнения воды и воздуха; ни повышенной, как у больной, температуры Земли...

Земляне! Что вы делаете?!

ТРЕВОЖНЫЙ ВЗГЛЯД

*Из Космоса – невелика Земля –
как тёплый колобок
в пространстве звёздном.
Его бы защитить, пока не поздно,
от подступающего зла:*

*спаста лохматые леса,
дома из брёвен,
и свежий хлеб
на солнечном столе,
и память тысяч лет,
в ряду неровном
прошествовавших по Земле...*

Память... Как быстро человечество теряет свою массовую память! Достаточно смены всего лишь одного поколения... Разделение на «До и После Войны» остаётся в памяти лишь тех, кто её пережил. «До и После первого полёта в Космос» – разделение, уходящее из массовой памяти...

Когда-то я не понимала собирателей марок – ведь невозможно собрать всё даже по какой-то одной теме – начало любой из них было слишком давно. После полёта Гагарина я стала собирать коллекцию марок о космических полётах. Ведь я лично пережила начало этой великой темы. Эпопея «Союз-Аполлон» – на моей памяти. Большие, красивые марки... Флаги СССР и США... Гигантское совместное свершение... Недавно услышала, что американские астронавты при высадке на Луну развернули там взятый с собой Советский флаг...

Земляне! Не забывайте!

ПОСЛЕ ВСЕХ ВОЙН И БЕЗУМИЙ

*... И наконец очистилась Земля:
прозрачными повсюду стали воды,
утрами в небесах прекрасная заря
светилась детской улыбкою природы,
и буйствовала зелень изумрудно
в разросшихся тропических лесах,
богатства в недрах залежали рудно,
и лишь роса напоминала о слезах,
и, сочетаясь с этой чистотой,
повсюду красота торжествовала...*

*Никто не любовался красотой,
поскольку человечества не стало.*

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Окончание. Начало в альманахе «До и после №14»)

Серёже было 13 лет, когда в моей жизни появился шахтёр из Кривого Рога, внимательный, заботливый, любящий. Сын сказал: «Мама, я скоро уйду в армию и пойду своим путём, а ты слушай своё сердце. Я поддержу тебя в любом случае...». Друзья кричали в один голос: «Что ты делаешь? Вы же такие разные!» А я так устала от одиночества. Второй брак стал новым витком в моей жизни.

1980-й год. Во время отдыха в Болгарии мы познакомились с обаятельной английской парой. Моего англоязычного запаса хватило для приятного общения и времяпровождения в общей компании. На прощание мы обменялись адресами и обещаниями выслать фотографии. Если бы я знала, какие последствия будет иметь эта безобидная дружба, – была бы осторожней. Вскоре англичане прислали обещанные фото и сувениры. Я, естественно, ответила благодарностью и завязалась ни к чему не обязывающая переписка. Я писала о своём городе (информацию брала только из рекламных брошюр), о своей семье, об увлечениях и т. д. Они отвечали тем же. Каково же было моё удивление, когда меня срочно вызвали в 1-й отдел. Перепуганный начальник шёпотом сообщил, что мною интересуются спецслужбы. Не чувствуя за собой никакой вины, я смело отправилась на назначенную встречу. На моё счастье, шёл 1980-й год, а не 1937-й.

Да... О шпионских страстях знала я из кинофильмов и книг, но вот, что сама буду втянута во что-то подобное, не предполагала. Молодые люди в одинаковых чёрных костюмах долго

распиранивали обо всех подробностях знакомства и переписки. (при этом копии всех писем у них имелись). Они запугивали, интриговали, выставляли массу условий, назначали новые встречи. Как в плохом детективе, я должна была незаметно, на расстоянии следовать за человеком с газетой куда-то на тайные квартиры, где в полумраке мне открывали «азы» слежки и конспирации. Я чувствовала себя «радисткой Кэт». Было и смешно, и жутковато. От меня требовали строжайшего соблюдения тайн и сообщений обо всём, что происходит вокруг, на работе, дома и пр. Не знаю, как удалось бы мне «сорваться с крючка» и чем бы это всё закончилось, если бы не рождение ребёнка. На какое-то время меня оставили в покое, а дальше... Началась перестройка. Страна гудела, как потревоженный улей, и у насислужб появились другие проблемы.

Рождение второго сына заставило снова задыхаться полной грудью и почувствовать себя сильной и решительной, заботливой «квочкой» и мудрой «волчицей». Кормить, опекать, любить, защищать... Я опять была нужна и по-матерински счастлива. Муж в 50 лет вышел на шахтёрскую пенсию и оказался не востребованным на работе. Общих тем для общения, кроме разговоров о сыне, практически не было. Учащались выпивки, ухудшались отношения. А вокруг шла перестройка, переделка, перестрелка... Сознание менялось: коммерция, бизнес. Работа на выживание по 24 часа в сутки.

Старший сын, после армии, учился в Киеве. Я полностью обеспечивала семью. Возвращаясь из выматывающих душу командировок, загружала продуктами холодильник, решала все набегавшие бытовые проблемы и... ловила тоскливый взгляд любимого младшего сынишки. Душа рвалась на части, надо было что-то решать.

Развод, реально, ничего не заменил. Муж продолжал жить в нашей квартире, пьяные ссоры не прекращались. Сын становился всё более мрачным и замкнутым. Я не узнавала ласкового и доброго Ярослава. Страх и ответственность за него, желание любой ценой выучить и поставить на твёрдую платформу двигало всеми моими поступками. Тяжёлый труд и опыт приносили плоды: открыла собственную фирму. Бывший муж переехал в купленную для него квартиру. Я оплачивала учёбу и жизнь старшего сына, отправила учиться в Америку младшего. Сыновья были смыслом моей жизни, радостью и безграничной любовью.

В день моего 50-летия, 14-ти летний младший сын сказал: «Всё нам дала мама. Она поставила нас на трамплин, с него мы обязаны построить своё будущее и сё безбедную старость...». Я чувствовала себя нужной и любимой.

ЕЩЁ ОДИН ШАНС

На 54-м году в моей жизни появился мужчина, на плечо которого можно было опереться. Сильный, опытный, умудрённый, но не избалованный жизнью, «трудоголик», – источник энергии с добрыми голубыми глазами. Это был подарок судьбы! Третий брак был осознанным и желанным. У него – две дочери и внуки. Новые заботы и радости. Я была любима и по-женски счастлива.

Время шло вперёд, и появились новые проблемы в нашей теперь уже большой семье. Однако начали появляться болезни и усталость. Подкрался пенсионный возраст. Мизерный размер пенсии, буквально, ошарашил. В душе поселилась неуверенность в завтрашнем дне, в своих возможностях. Что будет, если мы не сможем работать? А если болезни? А если...? Наблюдала по утрам из окна, как люди, проходя мимо мусорных баков, вытаскивали из них какие-то пакеты и уходя, прятали их в свои сумки. Становилось горько и обидно. Вчерашние учителя и врачи раскладывали вдоль дороги всякую домашнюю утварь: посуду, сувениры, поношенную одежду и обувь для продажи. Оптимизм угасал. Решение пришло от нашего мудрого Ярослава. Он уже с отличием окончил школу в Америке, поступил в Днепропетровский университет, и параллельно учился по программе обмена студентами в Германии. «Надо ехать!» – сказал он, и мы задумались. Ещё сомневались, но сын настаивал, обстановка накалялась, и мы решились.

ЭПИЛОГ

«Мама! Ни на миг не забываемая, мама! Простишь ли мою слабость? И слабость ли это? Прости меня, что не смогла для тебя сделать. Я часто бываю в Берлинском «Трентов-парке», где у памятника Русскому солдату утопают в зелени и цветах братские могилы твоих боевых друзей. А на месте твоей могилы, в твоей стране, в городе, где прошла твоя нелёгкая жизнь, – городская свалка. Я прихожу туда в день Победы. Очень больно, и я плачу. Прости, мама! Твои потомки живут теперь здесь – в Германии. Она гостеприимна и мы ей благодарны за это. Какое счастье, что есть друзья! Значит, жизнь прожита не напрасно. Милая мама! Мы ходим с твоим внуком по Рейхстагу и всматриваемся в каждую черточку военной поры. А вдруг она оставлена дорогой рукой? И я чувствую, что ты здесь, с нами рядом. Мы помним тебя и любим. Растут, крепнут и дают новые побеги твои корни – внуки. Жизнь продолжается!

ХОЗЯЙКА ВИЛЛЫ НА БЕРЕГУ ОКЕАНА
(к 120-летию Марты Фейхтваангер)

Большинство грантов, премий, фондов для развития литературных талантов в Германии названы в честь знаменитых лиц или учреждений-спонсоров. Вспомним фонд Шиллера, основанный ещё в 1859 году, фонды Бюхнера, Дёблина, Ласкер-Шюлер или премию Палаты Немецких Книготорговцев. На этом фоне необычным может показаться название фонда «Вилла Аврора». Вилла с таким названием расположена в Калифорнии, на окраине Лос-Анджелеса. Красивый, в стиле старинных испанских замков, 3-х этажный дом на склоне горы, к которому ведёт дорога серпантинном. Залы для конференций и симпозиумов, органнй зал, отдельные помещения для гостей, два внутренних дворика и большой сад возле дома, терраса с видом на океан, почти рядом с ним, а главное – большая библиотека – около 30 тысяч томов, после того, как 8000 из неё были изъяты и переправлены в библиотеку Южно-Калифорнийского Университета, поскольку этим ценным манускриптам и рукописям требовались особые условия хранения.

Вилла эта была куплена фондом в 1990 году и тщательно отреставрирована. Сейчас – это «дом творчества», куда на три месяца приезжают стипендиаты фонда из Германии или на год стипендиат из любой страны мира, те, кому на родине не очень уютно, с кем правительство его страны «расходится во вкусах и мнениях». Список стипендиатов ежегодно в мае определяет комитет при Министерстве иностранных дел Германии. Первым гостем на вилле «Аврора» Хайнер Мюллер – впоследствии известный драматург и

режиссёр. Вольфганг Беккер писал здесь сценарий к фильму «Гуд бай, Ленин»; а также Ху Шинг – опытный писатель из Китая и многие другие.

Вилла «Аврора» служит укреплению Германско-Американских культурных связей, а заодно и выполняет функцию мемориала немецкой эмиграции времён нацизма. Здесь проходят colloquia, доклады, литературные чтения, круглые столы. Параллельно подобные встречи проводятся в Берлине в рамках форума с тем же названием «Вилла Аврора».

Среди патронов фонда были Вилли Брандт и Рихард фон Вайцзеккер, Ганс Дитрих Геншер и посол США в Германии Ричард Барт, ряд других влиятельных лиц из Германии и США. Средства фонду поступают от Министерства иностранных дел Германии, Берлинского сената, газет «Tagesspiegel» и «Die Zeit» и Лотерей Берлина.

Столь авторитетным патронат является, главным образом, потому, что вилла эта хранит память о её прежних хозяевах, Лионе и Марте Фейхтвангерах. В саду всё ещё цветут посаженные Мартой деревья, сохранилась подобранная ею антикварная мебель. Говорят, ещё жива её любимая 200-летняя черепаха. По утрам к воротам виллы подходят серны, привыкшие к угощениям. Таким образом, Вилла «Аврора» – это ещё и музей Фейхтвангеров. Многое здесь создано руками Марты. Пожалуй, только библиотека – это несомненная заслуга Лиона. При его жизни почти приносился сюда невероятное количество книжных каталогов, приходили и сами книги; он привозил их и из своих многочисленных поездок; был связан с книжниками по всему миру, да и друзья сумели чудом переправить в Америку часть книг, собранных им ещё в Европе. Книжные полки были в этом доме повсюду – они занимали даже большую часть оконных проёмов. Благо, Марта не возражала против этого книжного нашествия.

В 1983 году одновременно в Мюнхене и Вене вышла из печати книга мемуаров Марты Фейхтвангер под названием «Nur eine Frau» – «Всего лишь женщина»; в 2008 году в Берлине увидел свет обстоятельный труд Манфреда Флюгге «Die vier Leben der Marta Feuchtwanger» – «Четыре жизни Марты Фейхтвангер». Если доискиваться в мемуарах Марты прямого или скрытого самовосхваления или дифирамбов её знаменитому мужу, то старания окажутся тщетными. Гордость её заметна лишь тогда, когда она говорит о своих спортивных достижениях. Она прекрасный пловец, ей великолепно удаются прыжки в воду с трамплина, она ежегодно посещает горнолыжные курорты, ей не чужда и акробатика, отлично водит машину. Лиону она так и не смогла привить любовь к спорту за все 48 лет совместной жизни.

Марта Фейхтвангер (девичья фамилия Лефлер) родилась в Мюнхе-

не, 21 января 1891 года в еврейской семье торговца мануфактурой, где без излишней строгости соблюдали кашрут, но большим праздникам посещали синагогу. Восемь лет она училась в гимназии, дома ей преподавали и иврит. Другого образования не получила. Правда, принцем-регентом Леопольдом она была признана в 1905 году «лучшей гимназисткой Баварии» с вручением соответствующей награды. Отцу не нравилось, что она много читала – выкручивал лампочки – читала при свете фонарика. Когда ей было девятнадцать, Марта встретила начинающего журналиста и драматурга Лиона Фейхтвангера. Он был известным победителем дамских сердец. Влюбилась и она, и вскоре переселилась в его холостяцкую обитель. «Моя жизнь началась в тот день, когда я впервые встретила Лиона» – читаем в её мемуарах. Свадьба по светскому ритуалу состоялась через два года, когда Марта забеременела. У Фейхтвангеров родилась дочь, которая прожила всего 2 месяца. Больше детей у них не случилось. После свадьбы долго путешествовали по югу Европы. Порой приходилось ночевать в винограднике под звёздным небом Италии или в крестьянском сарас. Иногда оказывались без денег, хотя на счета молодого литератора кое-какие гонорары поступали, но не везде в итальянской глубинке на почте находился человек, который мог понять что-либо в немецком паспорте Лиона. Наконец, в одном из городков нашёлся «полислот», несколько знакомый с датским, – он, поддавшись неотразимым чарам Марты, решился перевести немецкий паспорт Фейхтвангера на итальянский, затем поставил на переводе штамп своего сырного магазина. Как-то Марта спасла на Адриатике утонувшего рабочего, работавшего на ремонте итальянского военного корабля. Через несколько дней, Фейхтвангеров разыскал итальянский морской офицер. Он попросил Марту вызвать Лиона... и торжественно от имени Военного министерства и командования флота поблагодарил его... за мужество жены.

Путешествовали Фейхтвангеры много. Так они оказались в Тунисе в самом начале августа 1914 года. Тунис в то время – французская колония, Франция – противник Германии в начавшейся Первой мировой войне. Лион, мужчина призывного возраста, был немедленно интернирован. Марта нашла способ убедить французского генерала, что содержать взаперти журналиста, хоть и гражданина враждебной державы, без пытки и зубной щётки – непозволительно. Его отпустили на 2 часа для приобретения этих предметов. У Марты уже были заготовлены 2 билета на итальянский пароход (Италия ещё не вступила в войну), а очарованные Мартой матросы сумели спрятать Лиона в угольном отсеке. Ей удалось смягчить и условия последовавшей вскоре службы Лиона в германской армии. Она добилась того, что он

служил в родном Мюнхене. Его отпускали домой на ночь. Низкорослый, несколько неуклюжий Фейхтвангер в солдатской форме производил гротескное впечатление. Из-за своей близорукости он отдавал честь всем, кто был облачён в любую униформу: лесничим, водителям трамваев, таможенникам, забывая при этом приветствовать армейских офицеров. К концу войны, когда в Мюнхене возникли трудности со снабжением продуктами, Марта совершала рейды по сёлам с рюкзаком за плечами. Гонорары Лиона тогда съедала инфляция за время, пока они достигали адресата. Лео́н долго страдал болями в животе, хлеб, который продавали по карточкам, был практически несъедобным. Марта пекла для него хлеб по ночам. Только ночью в мюнхенские квартиры подавался газ.

В первые послевоенные годы у семьи Фейхтвангеров завязалась дружба со многими известными литераторами, некоторые из них остались верными этой дружбе долгие годы, для многих она продолжилась и в эмиграции. Ближайшим другом Лиона был Бертольд Брехт. Часто они работали вместе. Их дискуссии бывали бурными. Как-то, возвратившись домой, Марта застала испуганную служанку, встретившую её словами: «Скорее, там господин Брехт убивает Вашего мужа». Так воспринимался принципиальный диспут двух избыточно эмоциональных друзей. Это Фейхтвангер посоветовал студенту-медику Брехту оставить медицину в пользу литературы. Кстати, название «Трёхгрошовая опера» подсказал Брехту тоже он.

Фейхтвангер начинал свою литературную деятельность как журналист и драматург. «Еврей Зюсс» увидел свет как пьеса, которую охотно ставили. По совету Марты Лео́н создал на основе пьесы роман, который удостоился перевода на многие языки и принёс ему мировую известность. Марта всегда была первым читателем его произведений, их корректором. Темы его будущих произведений часто подсказывала она. Трилогия об Иосифе Флавии была написана по её подсказке. Дом Фейхтвангеров всегда был открытым на родине, а затем и в эмиграции. Здесь собирался большой круг литераторов, музыкантов, художников. Ближними друзьями этой семьи кроме Брехта, были Генрих Манн и Арнольд Цвейг. Позже у них бывали Ремарк, Синклер Льюис, многие другие знаменитости. Во время их пребывания во Франции заглянул Сергей Эizenштейн, возвращаясь из Мексики; многие другие знаменитости. Для Арнольда Цвейга Марта делала корректуру его романа «Воспитание под Верденом». Марта была хорошим кулинаром. Её паплет из гусиной печёнки и яблочный штрудель удостаивались восторженных отзывов самых требовательных гурманов. Популярность Фейхтвангера – писателя в годы после первой мировой войны

быстро росла. В 1925 году Лион и Марта, по совету Брехта, оставляют Мюнхен и переселяются в Берлин. Поначалу сменили несколько квартир, чтобы затем приобрести недостроенный особняк в престижном районе Грюневальд. Заботами Марты строительство было быстро завершено. Она позаботилась и об антикварной мебели, часть которой нашла в лавках старьевщиков. Их реставрировали по эскизам Марты. В Грюневальде, рядом с их домом, был лес, неподалёку – озеро. Пожить в этом доме Фейхтвангерам пришлось всего лишь немногим больше года. Во время их отдыха на юге Франции пришло известие о переходе власти в Германии к нацистам. Возвращаться домой было опасно уже хотя бы потому, что Лион как-то написал, что «Майн Кампф» содержит ровно столько ошибок, сколько и слов». Их дом в Берлине подвергся разграблению. Ворвавшиеся туда штурмовики, кроме прочего, сорвали со стены и растоптали портрет Рузвельта с дарственной надписью Лиону. Счета Фейхтвангеров в Германии – заморожены. Лион и Марта оказались временно без средств к существованию. Немецкие друзья в Берлине сумели найти некоторые финансовые уловки: часть средств была ими спасена и передана во Францию. Фейхтвангеры обосновались в местечке Санары, на Французской Ривьере. Многие выдающиеся деятели немецкой культуры нашли себе убежище неподалёку. Марте пришлось заново обустроить семейный очаг последовательно в двух замечательных виллах по найму. Дом Фейхтвангеров стал очагом, к которому стекалась немецкая эмиграция. Салон Марты, а её именовали «гранддамой немецкой эмиграции», привлекал. Здесь бывали братья Манны с жёнами, Арнольд Цвейг, Иозеф Рот, Бруно Клемперер и многие из тех, чьи имена составили славу Германии, и кто был ею отвергнут. Как выразилась Марта: «Мы жили в раю, правда, по принуждению». По приёмнику вслушивались в бесконечные, лающие речи фюрера. Как вспоминала Марта, многие их друзья, немецкие евреи, не воспринимали Гитлера всерьёз: «Разве можно воспринимать всерьёз кого-то, кто изъясняется на таком ужасном немецком?». Отсюда Лион совершил своё путешествие в Москву, где был принят самим Сталиным. Путешествие это и книга об этом путешествии не раз впоследствии ставились ему в упрёк. С началом войны Лион опять оказался интернированным. Его заключили в лагерь французы, как гражданина враждебной им Германии. Опять пригодилось обаяние и житейская хватка Марты. Она сумела через ПЕН-клуб добиться его освобождения. Прошли всего лишь недели, на юге Франции воцарилась власть правительства Виши во главе с маршалом Петеном. Правительство это, во всём послушное Гитлеру, собрало в лагерях всех немецких эмигрантов. Им грозила депортация в концлагеря в

Германии. Вновь был интернирован Лион. Интернировали и Марту, она оказалась в женском лагере. Её спортивные навыки помогли ей, соорудив подкоп, выбраться из лагеря и добраться до Американского консульства в Марселе. США ещё не вступили в войну, и двое сотрудников этого консульства помогли выкрасть Лиона в женской одежде из лагеря. Они опекали его и Марту до перехода ими испанской границы. Затем, уже в Португалии, другие американцы способствовали их переезду в США. Впоследствии стало известно, что существовало указание Рузвельта американским дипломатам способствовать побегу из гитлеровского ада выдающихся деятелей немецкой культуры, и в этом списке назывался Лион Фейхтвангер.

В Америке приходилось начинать всё сначала. Нечесная энергия и житейская хватка Марты позволили ей найти в Лос-Анджелесе и купить за скромную, по тем временам, сумму в 9000 долларов, замок, который впоследствии получил название «Вилла Аврора». Пригодился подоспевший как раз гонорар Лиона за роман «Братья Лаутензак». Замок был в ужасном состоянии. Слой мусора на полу вперемешку сдохшими крысами убирали вдвоём лопатами Марта с нанятым ею садовником. Вскоре замок был отремонтирован. Марта и здесь позаботилась об антикварной мебели. Это был уже четвёртый особняк, обустроенный ею. Здесь, кроме их старых друзей, многие из которых поселились в Штатах, у них бывали и новые: Чарли Чаплин, Артур Миллер, Бруно Вальтер, Артур Рубинштейн, Катя и Томас Манн. После войны приезжал Брехт с семьёй. Мстислав Ростропович во время гастролей в Штатах побывал здесь; со своим аккомпаниатором он дал концерт для Фейхтвангеров и их друзей. Лион тогда заболел и не смог побывать на его концерте в Лос-Анджелесе.

Марта – вновь хозяйка салона... Она во многом облегчала труд мужу, который был на пике успеха. Прочитывала газеты, подбирала статьи, с которыми ему следовало бы, по её мнению, познакомиться, постоянно напоминала ему, что после обеда надо выпить стакан свежесжатого анельсенового сока; по утрам он должен был делать гимнастику, пусть не в том объёме, что она, но ежедневно.

48 лет совместной жизни! Может показаться, что речь идёт об идеальной супружеской паре. Оба были в браке впервые и навсегда. Брак этот был своеобразным. Биографы Лиона Фейхтвангера едины в том, что он был ярко выраженным эротоманом. Существует его дневник, где все «победы» тщательно им зарегистрированы. Биографы приводят обширные цитаты из этого, довольно откровенного, дневника.

Казалось бы, внешне Лион вряд ли мог производить ошеломляющее впечатление на дам: небольшого роста (165 см.), тонкий, бли-

порук... Но даже в своё знаменитое путешествие в Москву в 1937 году он отправился не с женой, а с любовницей, которой, пробыв там всего несколько недель, умудрился тоже изменить. Судя по мемуарам Марты, и она была не безгрешной. У четы Фейхтвангеров брак был «свободным». Как-то на одном из карнавальных балов Марта застала в укромном утолке юное создание на коленях мужа: «Сидите, сидите», успокоила она растерявшуюся соперницу. В этом, наверно, проявлялась мудрость Марты. Известно, что скандалы у неё были только с одной из секретарш Лиона, которая очень уж откровенно претендовала на роль многолетней «Nebenfrau» – «побочной жены». Большинство его секретарш исполняли не только свои прямые обязанности. Если трудно обуздать скакуна, следует в какой-то момент отступить, поодвиг. В своих мемуарах Марта писала: «Мы согласились не вмешиваться в жизнь друг друга ... и были абсолютно открыты. Мы не вралли». В молодости долгие годы Лион был заядлым игроком в карты, не брезговал и рулеткой: проигрывался в пух и прах. Марта писала о том, что в некоторых казино ему, окончательно проигравшемуся, покупали за счёт администрации билет на обратную дорогу. Лион в своей автобиографии шутовски замечал, что «в жизни совершил 23257 простительных грехов и только два непростительных». Каков был критерий, отличавший одни грехи от других, осталось неизвестным. А то, что Марта проявляла чудеса терпения, сомнения не вызывает.

Роль жены выдающегося человека Марте явно удавалась. Ей приходилось бывать на приёмах в честь мужа у министра иностранных дел Великобритании Бальфура, у Ротшильдов, встречалась с Черчиллем, Элеонорой Рузвельт, Хансом Вейцманом и многими другими выдающимися личностями. Дом Фейхтвангеров служил местом притяжения для известных писателей, музыкантов, художников. Ей удавалось соблюдать пропорции между доверительностью и замкнутостью, раскованностью и сдержанностью в общении. В ней чувствовался врождённый аристократизм, сочетавшийся с практической хваткой, позволявшей быть ангелом-хранителем её не очень практичного мужа. Она относилась к окружающему миру, как к «раю, который всегда возможно ещё чуть усовершенствовать». Те, кто знал её в молодости, говорили, что она красива. Когда время взяло своё, её называли «величавой».

В 1958 году умер Лион Фейхтвангер. Марта осталась одна в огромном особняке. Ей было 67 лет. Она по-прежнему не оставляет занятий спортом. По утрам спуск к оксану, плавание без особой оглядки на погоду, зимой – поездка в горы, чтобы покататься на горных лыжах. Её вилла служит местом притяжения для многих деятелей культуры.

Их круг не сузился. Часты здесь музыкальные и литературные вечера, вилла становится своеобразным музеем немецкой эмиграции. Марта выполняет роль гостеприимной хозяйки и гида. В последние годы увлечается музыкой. У неё гостили известные музыканты, среди них: Стравинский, Клемперер, Рубинштейн, Вальтер. Она пропагандирует творчество покойного мужа. Ей присвоено звание почётного доктора Калифорнийского университета. «Вдова – это не профессия», как-то заметила она. Естественно, материально ей не под силу было содержать обширный особняк. Она дарит его Калифорнийскому университету, вместе с содержимым, включая библиотеку, с условием, что ей будет разрешено здесь проживать до конца дней. Прожив после смерти мужа ещё 30 лет, Марта Фейхтвангер скончалась 25 октября 1987-года в возрасте 96 лет.

Источники:

1. Marta Feuchtwanger, «Nur eine Frau», Langer Müller, 1983, München-Wien.
2. Manfred Flüge, «Die vier Leben der Marta Feuchtwanger, Biografie» Aufbau Verlag, 2008; Berlin.
3. Susanne Kippenberger «520 Paseo Miramar», Der Tagesspiegel, 14.12. 2008.
4. Kathrin Hillgruber «Vom Hofbrauhaus zum Pazifik», Der Tagesspiegel 17.12.2008.
5. Winfried F. Schoelle, «Schönste Blüte», Der Tagesspiegel, 21.12.2008.
6. Анон Фейхтвангер. Собр. соч в 13 т. Изд. Худ. литературы, М, 1963, Том 1. «Опыт биографии», «Автопортрет», «Автор о самом себе».
7. Б.Сучков «Анон Фейхтвангер», Собр. соч. в 13 т., Изд. Худ. литературы, М, 1963, Том 1.



ДО И ПОСЛЕ нашей революции



Карл Абрагам

Родился 17.04.1930 года в Берлине, куда возвратился в 1991 году. Публикации в журналах «Радуга», «Донбасс», «Секрет» (Израиль). В альманахе «До и после» №№3–14. Автор четырёх книг (проза и публицистика). Участник берлинского сборника «Еврейские мотивы»

ДО И ПОСЛЕ войны и прои

Я в Петербурге. Куда направить шаги? Куда же ещё, как не к Александру Блоку? Крайности: поэт Блок живёт в казарме. Его отчим командует лейб-гренадёрским полком. Я назвал нежно оберегаемое мною имя Блока мрачно взиравшему полицейскому, и тот указал на квартиру полковника в первом этаже. Полдень. Меня ждали. Они жили в небольшой квартире, граничащей с квартирой полковника.

Блок предстал передо мной



Иоганнес фон Гюнтер БЛОК И ДРУГИЕ

(Отрывок из книги «На восточном берегу». Перевод с немецкого)

таким, каким я себе его представлял. На нём – чёрный, довольно просторный китель с узким белым воротничком. Ему двадцать шесть, но ничего юношеского в его фигуре я не разглядел. Он среднего роста, худощав, приземист, что иногда производило впечатление неповоротливости. Каштановые волосы его слегка вились, гладко выбритое лицо выглядело на редкость сосредото-

ченным, даже тогда, когда он бывал весел. Говорил медленно. Его светлые глаза печальны. Пухлые губы особенно красны. Вокруг высокого овального лба угадывался нимб упрямства и мечтательности. Двигался медленно, временами неуклюже. Его нельзя было назвать ни добрым, ни сердечным. Его просто следовало любить. Так мог выглядеть только поэт. Его жена, Любовь Дмитриевна, – чуть меньше его ростом, белокура, худощава, очень красива и в чём-то напоминавшая женщины восемнадцатого столетия. Она была уверенной в себе, и несмотря на молодость, очень женственна. Умела справляться с житейскими проблемами и знала об этом. Она откровенно дружелюбна, весела и более категорична, чем Блок. Каждый признавал её блестящий ум, несмотря на обольстительную фигуру. О ней не скажешь, что она изыщна. Её красивые руки несколько велики, так же как и мягкий красный рот. Это великолепная пара, под стать друг другу. Я чувствовал себя с ними, как дома. Тогда же я познакомился с матерью Блока – впечатлительной пожилой дамой, возможно, слишком доброй и невероятно интеллектуальной. Она преувеличенно любезна, проявляла личный интерес к собеседнику. В сравнении с сыном – более элегантна. Она происходила из семьи учёного, на её лице угадывалась печать духовности. Наконец, явилась её сестра, приветливая дама, госпожа Бекетова, которая позднее напишет наполненную любовью книгу о Блоке. Она принесла нам чай. В этой атмосфере Блок чувствовал себя комфортно. Было заметно, что ему нравится быть в окружении женщин. Он разрешал баловать себя и любоваться собою. Что-то в нём было от маменькиного сынка. Мать передала ему записку. Любовь Дмитриевна посмотрела на меня, усмехнулась и только покачала головой. Позднее я узнал, что несмотря на то, что мать и сын жили в одном доме, они состояли в постоянной переписке, обмениваясь мыслями друг с другом. Это многое объясняет. В тот день и вечер основным занятием было чтение стихов. До этого я уже перевёл две трети «Стихов о Прекрасной Даме». Блок хорошо владел немецким языком, хотел послушать и окончание поэмы, той части, которую я ещё не успел ему переслать. Мне льстило, что я имею возможность в этом кругу прочитать свои переводы. Я читал так, как этому меня учил Франц Гессель, одинаково повышенным тоном, как читали стихи в обществе Стефана Георге. Каждое слово следовало произносить высокопатетично, скандированно, громко, не отвлекаясь на чувства и мысли. Это произвело впечатление: манера чтения у Блока примерно такая же, несмотря на то, что читал он намного спокойнее, в определённой степени бесстрастно, слегка проглатывая окончания, менее громко, то есть естественнее, чем я. Мне позволили прочесть в этом обществе и свои стихи, кото-

рые Блок очень ценил. Особую похвалу я заслужил от жены Блока и его тётки. Удивительно, но это подстёгивает высокомерного молодого поэта, когда он слышит от элегантных дам хвалебные слова в свой адрес. При этом молодой человек причмокивает, как дитя. Блок читал много новых стихов, уводящих от религиозно-мистических строк «Стихов о Прекрасной Даме», уступивших место одержимости и чистейшему сюрреализму. Стихи не нашли положительного отклика в душе матери, в то время как жена поэта именно эти строки, ей вовсе не предназначенные, яростно защищала. Я, естественно, принял сторону Любови Дмитриевны. Удивительна объективность при обсуждении прочитанного. Не произносилось «мой муж» или «мой сын», лишь «Блок», или «он», иногда «Саша». Затем я читал стихи Стефана Георге, они Блоку не понравились. Странно, что Блок не проявлял интереса к современной немецкой поэзии: свои симпатии он отдавал почти исключительно Гейне, которого много и охотно переводил, отдавая предпочтение сентиментальным строкам немецкого поэта, не относящимся к его лучшим произведениям. С наступлением вечера явился отчим Блока – Кублицкий-Пиотух, приветливый и несколько желчный господин, в котором по внешнему виду угадывалось польское происхождение. Несмотря на доброжелательность, было заметно, – то, что здесь происходит, ему не интересно. И не удивительно. О чём только не говорилось в присутствии верного царю полковника, состоящего на государственной службе. Сколько страсти и революционного пафоса он вынужден был выслушивать, зная, что женщины не разделяют его убеждений. Полковник часто оказывался в незавидном положении.

Пригласили к столу. Подали к столке водки закуску, красное вино и, наконец, чай. Опять пошла беседа о стихах. Кублицкий рассказал пару язвительных анекдотов, на которые присутствующие едва обратили внимание. Я же при этом улыбнулся. Полковник посмотрел на меня с удивлением.

Несколькими днями позднее я вновь стоял перед той же дверью. Блок, прощаясь со мной в первый раз, изъявил желание непременно снова меня видеть и познакомить со своими товарищами. В этот раз меня приняли несколько официально. Затем позвали мать поэта. Александр Александрович (Сашей его называли жена и мать) пригласил меня сесть, сказав, что подготовил мне сюрприз. Затем прочитал стихотворение, адресованное мне. Красивые стихи,шедшие из глубины лично им пережитого. В них обсуждались темы, о которых мы говорили и спорили при моём первом посещении. Несколько возбуждённый, я высказал подозрение о земных воплощениях погибших

ангелов в видениях Люцифера. Блок и сам придерживался мнения об инкарнации одного из ангелов Люциферовой команды, сказав загадочно, что «по этому поводу не следует проинизировать; наш отряд ещё невелик». Благодаря этому многократно опубликованному стихотворению, обнажив некоторые, так называемые шифры, он зачислил меня в свою команду. Смущённо улыбаясь, он вручил мне своё стихотворение. Я был восхищён и потрясён. Это было своего рода объяснением в дружеских чувствах ко мне, но к чему они обязывали? Я и без того был его последователем, и именно поэтому он включил меня в свой «отряд». Но и я пришёл не с пустыми руками: два сонета, посвящённых жене Блока. Сейчас у меня нет этих стихов. Помню только первую строчку: «Но острова ничего не знают и молчат». А второй сонет заканчивался так: «Но острова ничего не знали и молчали». Цветущий символизм! Ведь это является особенностью каждого убеждённого символиста – извлекать из реальных главных слов и картин личные, чувственные комплексы. «Острова» по отношению к Любови Дмитриевне означают без сомнения глубокие тайны её необъяснимой красоты. Это было завуалированным, полным глубокого уважения объяснением в любви. Любовь Дмитриевна всё правильно поняла, поблагодарив меня тёплой улыбкой, взяла оба сонета, прочла ещё раз, сложила их и поцеловала меня в лоб. С тех пор она называла меня «Мой рыцарь». В Петербурге я имел и другие имена. Вячеслав Иванов называл меня «стройным пламенем». В 1949 году, незадолго до своей смерти, он прислал мне из Рима почтовую открытку с этим обращением. Михаил Кузмин обращался ко мне не иначе, как «Гюгюс». Было у меня и ещё имя: «Каменный мальчик».

Под вечер пришёл поэт Пяст (польского происхождения), с которым мы быстро подружились. С ним можно было обсуждать сложнейшие вопросы просодии, в которых он был большим докой. Блок по сравнению с ним мало разбирался в метрико-ритмичных особенностях речи и в стихотворных формах. Мы без усталости обсуждали особенности сонетов Петрарки, Шекспира, классические французские сонеты в форме александрийского стиха и sonetti a coda. Нас интересовало, возможны ли кроме дактилических рифм ещё и другие многосложные рифмы, для чего мы отправились на прогулку в сад мировой литературы. Мы были влюблены в испанцев и он, также как и я, разрабатывал тему «Дона Хуля, злётные штаны» Tierso de Molina.

Явился Сергей Городецкий, похожий на Пяста, несколько старше меня – долговязый, рыжий, шумный, весёлый и общительный молодой человек. К тому же студент, с весьма левыми взглядами. Он стал быстро широко известным поэтом благодаря стихам, темы которых

он черпал из народного творчества. Русские, вообще, к фольклору неравнодушны. Поэты-деревенщики использовали в своём творчестве народные мотивы и всегда находили живой отклик у крестьян. Достаточно вспомнить Кольцова, к которому позже присоединились Есенин и, прежде всего, Клюев. Городецкий не полностью вписывался в круг молодых символистов. Несмотря на то, что он подчёркивал своё отношение к новой школе, будучи в дружбе с Блоком, и считался любимым учеником Иванова. Его нельзя было назвать «последовательным» символистом. Во всяком случае, он был им недолго. В 1911 году он вместе с поэтом Николаем Гумилёвым возглавил новое литературное течение поэтов – акмеизм. Он был большим поэтом, ему удавались стихи, полные темперамента, среди которых заслуживает упоминания замечательная поэма «Странники». Сергей Митрофанович и я были последними оставшимися в живых представителями «Серебряного века» русской поэзии. Недавно он передал мне привет и несколько тёплых слов через одну московскую приятельницу. «Позвольте и мне, дорогой товарищ той незабываемой поры, передать Вам самый сердечный привет». Вот и он умер...

Явился Евгений Семёнов (Женя)* – умница, самый близкий друг Блока, с которым он никогда не спорил, и яркий композитор Панченко. Мы были любопытствующей, подвижной как ртуть компанией, не испытывавшей страха перед любыми завуалированными картинками, и каждую игру с небом воспринимали с юмором, сочиняя при этом новые слова. Красавица жена Блока была изолирована от общества гениальных и вообще крупных поэтов Москвы. Для них она была олицетворением мудрой Софии, то есть почти божественным символом. Она действительно была таковой, но не для Блока, который при всей своей искренности находился в несколько натянутых отношениях с московскими друзьями. Одним из этих москвичей был племянник философа Владимира Соловьёва, который позднее при тяжелейших обстоятельствах стал священником православной церкви. Время было таким. Всё выглядело, как игра, и в то же время глубоко проникало в душу. Вовсе не игрой оказались новые стихи Блока, возникшие из другой области. Почти в тот же день, когда Блок посвятил мне своё стихотворение, появились стихи с контурами нового женского образа, которые должны были вытеснить лик «прекрасной дамы», олицетворением которой долгие годы была Любовь Дмитриевна. Через некоторое время мы услышали песнопение некой «незнакомки», которое с быстротой молнии охватило всю Россию, и в одночасье сделало Блока знаменитым.

С Блоком творилось что-то неладное: в середине выпускных уни-

университетских экзаменов он начал пить; каждый вечер и ночь напролёт Блок пропадал со своим другом, писателем Чулковым, в кабаках одного из островов дельты Невы, либо пригородов Петербурга. Поэт предстал в новом душевном качестве. Рядом с его письменным столом стояла книжная полка с наиболее важными для него книгами. Среди них были и книги Владимира Соловьёва, с которым Блок находился в дальнем родстве. Так как я плохо был знаком со стихами этого поэта, то попросил Блока дать мне почитать одну из его книг. Он отказал мне в этом в довольно нелюбезной форме, сославшись на то, что сделает на полях книги свои пометки, которые никто не должен видеть. Любовь Дмитриевна усмехнулась при этом и кивнула мне. У меня создалось впечатление, что Блок что-то скрывает, возможно, мучившие его угрызения совести. Спустя несколько лет я убедился в том, что предчувствие меня не обмануло. Стихи, стихи, стихи. Потом был ужин... и опять русские беседы глубоко за полночь. Тайны символизма, секреты стихосложения, тайны искусства для искусства – вопросы, обращённые ко всем людям. Ибо все мы, сплотившись вместе, уже стояли непосредственно на перепутье, которое вело из нетерпения духа к сговорчивости плоти. Это путь, который должны пройти все люди, живущие на земле. Почти все.

Мы были тогда нетерпеливы. А Блок не изменился. Чем старше он становился, тем чаще он защищал то, чему давно изменил. «Прекрасная Дама» превратилась в красную, но продажную «Незнакомку», пока он обеих не принёс в жертву горячему, но болезненному русскому национализму. Вопрос, любил ли он Россию? Любил ли он современную ему Россию? Со смущением думаешь об апофеозе большевиков революционной России в его последней поэме «Двенадцать», околдовавшей весь мир в 1918 году. Блок, очевидно, не считал тогда это богохульством, если он впереди двенадцати фанатиков, ни перед чем не останавливающихся мятежников и шелудивого пса, поставил Иисуса Христа. Позднее Блок только качал головой по этому поводу. В 1906 году он ещё не знал, куда приведёт его дорога, по которой он шёл. Но даже если бы он это знал, то пошёл бы этой дорогой, частично в результате русского терпения: ничего, как-то образуется, частично из, опять-таки, русской потребности приносить себя в жертву. Да и был ли Блок по духу своему русским? Он говорил «да», но был ли он им на самом деле? Не был ли он младшим братом лермонтовского Демона?

Первоначально я рассчитывал пробыть в Петербурге четыре недели. Они выросли до восьми. Большую часть этого времени я провёл у Блока. Серьёзный разговор, начатый нами однажды, сблизил нас. Стихотворные строки, имевшие для меня тогда огромное значение, отно-

спились к «Vita nuova» Данте, в них речь шла о встрече поэта с Беатриче. Я сказал Блоку о схожести описания бессмертной любви у него и у Данте, с той лишь разницей, что он это сделал в стихотворной форме, а Данте перемежал прозаические фрагменты сонетами. Блок задумался и сказал, что и для него такая форма была бы, возможно, более приемлемой. И вдруг он стал выражать сердечную благодарность за мой совет, назвав меня знатоком не сказанного им. Позднее я узнал, что он ещё долго носился с идеей переделать «Стихи о Прекрасной Даме» по образцу «Vita nuova». Какая книга могла бы получиться! Этот пример я отношу к немногим параллельным мыслям и событиям, объединяющим меня с Блоком. Однако к почным своим поездам за город он никогда меня не приглашал. Его постоянным сопровождающим был писатель-сибиряк Георгий Чулков (псевдоним Юрия Обиды). Стихи он писал плохие. Блоку он оказывал медвежью услугу, непрерывно сворачивая его посещениями небольших пригородных кабаков. Чулков был, между прочим, духовным отцом «Мистического анархизма».

То было время лозунгов и новых литературных течений. При активном участии Дмитрия Мережковского и его жены Зинаиды Гиппиус в Петербурге начали проводиться заседания религиозно-философского общества, своего рода собраний, в которых принимали участие представители духовенства и религиозно настроенные писатели. Просуществовало это общество недолго. Некоторые блестящие умы России многим обязаны этому обществу, получая от него постоянную подпитку. Это касается, прежде всего, философов Розанова и Бердяева, а также религиозных мыслителей Флоренского и Булгакова, ставших позднее знаменитыми. Многие легко воспламеняющиеся головы ударились в ни к чему не обязывающую мистику, которую они превозносили как особую русскую добродетель. К этому питательному бульону они добавляли приправу, выдаваемую опять-таки за чисто русский анархизм, ибо истинный русский, как они полагали, при слове анархия не должен удивляться и чувствовать её разрушительную силу. При дружеской поддержке Вячеслава Иванова Чулков издал два красиво оформленных альманаха «Факел». В первом номере была опубликована романтическая пьеса Блока «Балаганчик». «Мистический анархизм» продержался около года и почил в бозе от смеха, им же вызванного. Альманахи были продолжительное время в моде, так же, как за восемьдесят лет до того, во времена пушкинского «Золотого века». Солидных издательств для новой поэзии практически не существовало. Издательство Брюсова в Москве, «Скорпион», в котором публиковали свои стихи Бальмонт, Брюсов, Белый, Иванов, Соллогуб и Гиппиус, было по сути параллельным парижскому издательству «Mercure de

France». «Скорпион» издавал важнейший альманах «Северные цветы» (во времена Пушкина издавался одноимённый альманах) и ежемесячник «Весы». Кроме этого, в Москве существовало издательство «Гриф», выпустившее «Стихи о Прекрасной Даме». И здесь выходил альманах. Руководил издательством поэт среднего дарования – Кречетов (настоящая фамилия Соколов). Страшная любовь русских к звучным псевдонимам. Например: Ульянов (Ленин), Бронштейн (Троцкий), Джугашвили (Сталин), Скрябин (Молотов), Апфельбаум (Зиновьев). Руно́р большевиков «Правда» публиковала материалы, подписанные исключительно псевдонимами. Кроме московских издательств «Скорпион» и «Гриф», Вячеслав Иванов в Петербурге возглавлял издательство «Оры». Все три издательства имели один и тот же состав авторов. «Оры» издавало свой альманах «Корзина ор» (корзина богинь). Великолепный петербургский ежемесячник «Мир искусства», предоставивший свои страницы символистам, так же как и журнал «Новый путь», издаваемый в Петербурге по инициативе Мережковского и его жены и отданный под протоколы религиозно-философского общества, первым опубликовал стихи Блока. Не следует сбрасывать со счетов небольшое, довольно скромное по своему уровню, издание «Новый журнал для всех», заигрывавший с символистами. С этим журналом я познакомился ещё в Дрездене. Другие издательства и журналы не спешили отдать свои страницы представителям новой поэзии. Символистов упрекали в декадентстве, ибо в России девятнадцатого столетия от стихов требовали, как само собой разумеющегося, не искусства, а политического просвещения, и чем левее оно было, тем лучше. Как только символисты появились на литературных подмостках, их тут же подвергли уничтожающей критике. Я обратил на это внимание ещё в 1906 году, в свой первый приезд в Петербург. Тогда это проявилось ещё не в полной мере, но можно было уже тогда предвидеть, что битва за новое мышление вскоре будет выиграна.

Идейным руководителем петербургских символистов был Вячеслав Иванов. В ту пору ему было 40 лет. Он был учеником Владимира Соловьёва, учился в Германии и являлся, без сомнения, одним из образованнейших людей своего времени. Был поэтом строгих форм, сочинял иногда «античные» стихи, исполненные глубокого пафоса. Он, как волшебник, вводил в русский язык старые, давно забытые слова, которые делали его в основном эзотерические стихи не совсем понятными. Между ним и творчеством Стефана Георге прослеживалась определённая параллель, что вызвало во мне симпатию к нему. Мы находились в переписке; подгоняемый несыатым любопытством, я разыскал его в тот же день, когда впервые встретился с Блоком. Ива-

нов жил в угловом доме, по Таврической 25, непосредственно напротив красивого Таврического парка и дворца князя Таврического – государственного и военного деятеля Григория Потёмкина, которого Екатерина Великая в ночь свержения с престола своего слабоумного супруга, царя Петра III, сделала, ради прихоти, своим фаворитом. Учёные-историки и сегодня, спустя двести лет, расходятся во мнении в оценке деятельности Потёмкина, и мне кажется не лишним здесь обратиться к сочинению глубоко уважаемого мною исследователя культуры, Николая фон Арсеньева, давшего развёрнутую характеристику царедворцу Потёмкину.** Прошло два года после возвращения Иванова из-за границы. Местом жительства он избрал Петербург – выбор во многих отношениях судьбоносный. Я не вижу никакой случайности в том, что Вячеслав Великолепный, как его в шутку называли, и что во многом соответствовало действительности, поселился именно там. Флюиды, исходившие от этого русского, стали в те годы определяющими для России. Упомянем знаменитые среды, с которых всё началось. В этот день, по вечерам, в его квартире – так называемой Башне, собирались лучшие умы Петербурга. Сюда приходили писатели, художники, композиторы, крупные театральные деятели и, прежде всего, молодые поэты, известные философы, в частности, религиозные мыслители. Иванову удалось создать атмосферу, оказавшую, несомненно, огромное влияние на исход борьбы за новую поэзию. Мне это было по душе. В тот год Вячеслав Иванов позировал художнику, писавшему его портрет. Мне разрешили присутствовать при этом. Он мог уделить мне, таким образом, достаточно внимания, что сблизило нас. Один из московских миллионеров, собиратель нового французского искусства, решил издавать в Москве современный журнал поэзии и искусства «Золотое руно». Всем молодым поэтам было предложено предоставить журналу свои портреты. В качестве исполнителя был приглашён живописец и график Константин Сомов. Им были выполнены замечательные портреты, оставшиеся потомкам, – Блока, Иванова, Кузмина и Соллогуба; Брюсова запечатлел душой большой гениальный Врубель; портрет Зинаиды Гиппиус был написан Львом Бакстом.

К собраниям по средам допускались немногие. Благодаря этому устанавливалась интимная атмосфера, которую я находил для себя поучительной. Душевный климат был несколько иным, чем у Блоков. Слова произносились почти те же, и в то же время всё было по-другому. Как это обозначить? На смену загадочному романтично-вольшебному миру Блока пришла всем понятная духовная прозрачность, повсе не чуждая мистике, и даже конкурирующая с некоторыми её

адептами, чувствовавшая себя, однако, свободно и раскованно, хотя и без признаков экзальтации. В Сомове жил дух французской революции; он был сторонником нового течения в живописи, поконившего на культуре эллинизма. Элегантный, остроумный Сомов обладал выдающимся умом. Среднего роста, почти грациозный, с тёплым взглядом, изящными руками и с умным насмешливым ртом, он принимал живое участие во всех разговорах, успевая при этом работать над очередным портретом. Каждый штрих его был точен. Наблюдать за ним было сущим удовольствием. Он был, безусловно, одним из лучших мастеров серебряного века русской графики. Кроме того, человеком, умеющим слушать. Мне кажется, что лучшего слушателя я в своей жизни не встречал. Но и Иванов умел слушать. С улыбкой Моны Лизы он послушно и терпеливо позировал Сомову. Рыжеватые полосы, опускавшиеся ниже затылка, делали его голову похожей на львиную. Светлая борода дополняла портрет поэта. Он постоянно носил чёрный сюртук и производил впечатление человека другого столетия. Это был крупный, широкоплечий сорокалетний мужчина с расквашенной походкой и тёплым доброжелательным взглядом. Носил пенсне, подрагивавшее на носу, и обладал высоким голосом. Человек огромной эрудиции, знавший, как минимум, восемь языков, он мог во время беседы, сам не замечая того, перейти с одного языка на другой: на греческий, латинский, немецкий, французский, английский, итальянский, иврит и, конечно же, на русский. Он знал не только русский, но и старославянский, позволявший ему доходить до самых глубоких языковых корней. Гёте он знал наизусть, прежде всего, «Фауста». Мне особенно льстило, когда он говорил о том, что ему в моих стихах нравилось. Он договорился с редакцией «Весов» о публикации этих стихов. Ему особенно понравился веноч сонетов, посвящённый деве Марии. Сомов тоже говорил хвалебные слова в мой адрес. Они могли слушать мои стихи часами, особенно мои переводы русских авторов. Иванову было недостаточно переводов произведений его приятелей. Он непременно хотел послушать, как я перевёл, например, Николая Минского, который незадолго до этого вместе с Максимом Горьким основал первую социалистическую газету «Новая жизнь». В ней он иногда помещал скверные стихи социалистического толка. В те годы я чувствовал себя эдаким Гарольдом-социалистом. И потому включил в свой перевод несколько патетических лозунгов. Иванов находил это потешным, а Сомов только ухмылялся.

Третьей в этом поэтическом кружке была Лидия Зиновьева-Аннибал – вторая жена Иванова, высокая, довольно полная импозантная дама, с рыжеватой, пышной гривой, одетая всегда в пёстрый грече-

ский хитон. Громкая, весёлая, подвижная и решительная, она стихов не писала, а сочиняла прозу, большую и малую, а также пьесы для театра. Добрая женщина питала слабость к молодым поэтам, и я сразу же добился её расположения. Она, по сравнению с мужем, который производил несколько отстранённое впечатление, мыслила реалистическими категориями. Её можно было рассматривать тем механизмом, который учитывал различные, прямо противоположные мнения и держал среды Иванова в нужном русле. «Среды Иванова» стали историей. Где-то около 10 часов вечера начали сходить гости. Они заполнили большую комнату с глубокой оконной нишей, в которой помещался рояль; рядом был кабинет с письменным столом и книжными полками до потолка. В этих двух комнатах собиралась масса людей, иногда до шестидесяти-семидесяти человек. Урчал самовар. Спиртные напитки по этим вечерам не подавались. Под ненавязчивую режиссуру Вячеслава Иванова исподволь начиналась дискуссия между философами, историками и религиозными мыслителями. Беседа шла за длинным чайным столом, за которым также ели. Присутствовали: рослый, обращавший на себя внимание, статный С. Булгаков, а также Н. Бердяев в сопровождении элегантной жены, Лидии Юдифовны. Нас всегда интересовало отчество этой женщины; ведь Юдифь – имя женское. Физический недостаток Бердяева вызвал у меня поначалу испуг: во время разговора у него постоянно выпадал большой мясистый язык. Знавшие раннее философа давно привыкли к этому.

Приходили учёные, присутствовавшие на заседаниях религиозно-философского общества, выступали, спорили. Я, признаться, был не в состоянии что-либо понять из их разговоров. Часто появлялись чета Блоков, писатель Алексей Ремизов с супругой, Соллогуб, Сомов и Бакст, ну и, конечно, мы, молодые поэты во главе с Пястом и Городецким. Среди гостей можно было заметить несколько общительных и опытных женщин, одна из которых пыталась совратить меня гашишем. Она подарила мне малахитовую коробочку, наполненную светло-коричневым наркотиком, имевшим консистенцию мёда.

Как только у дискутировавших учёных и философов наступила пауза, Лидия Дмитриевна, хозяйка дома с развевающимися локонами, взяла бразды правления в свои руки и объявила, что молодые люди сгорают от нетерпения прочесть свои стихи. Мы поднялись и начали декламировать, петь и читать наши сочинения. Городецкий постоянно подталкивал меня вперёд. К удивлению присутствовавших, я начал читать свои стихи на немецком языке. Кроме своих, я читал Стефана Георге и Гуго фон Гюфманншталя. Городецкий, вообще, относился ко мне благосклонно. Однажды сумерками апрельского утра он прово-

жал меня домой. Во время этого он сочинил стих, посвящённый мне. Третье стихотворение, русский подлинник которого не сохранился, посвятил мне Иванов. Существует лишь перевод этого стихотворения на немецкий язык. Помню только две первых строчки оригинала: «На юстоке Люцифер, vesper на закате». Эти вечера продолжались долго, иногда всю ночь. Вспоминаю восход солнца, который мы наблюдали с крыши дома, куда нас привёл Иванов. Под нами находился Таврический парк, а в красноватой дымке восходящего солнца – просыпающийся Петербург. Редкие звуки нарушали тишину, и Блок своим спокойным, вдумчивым голосом прочёл «Незнакомку». Мне кажется, что это была премьера бессмертного произведения. Всё было очень по-русски и в то же время, трансцендентно, совсем не по-русски. В точности, как святой (вовсе не святой) Санкт-Петербург – самый волнующий призрачный город земли. Среды Иванова – звёздные часы духовности, были также звёздными часами Европы, в которой гениальность России открылась Старому Свету.

Каждый раз при посещении Иванова, я часто думал о Георге. Он, Иванов, был для меня олицетворением всего поэтичного. Его возвышенная, патетическая манера выступлений напоминала немного речитатив. В Иванове, который умел быть таким древнерусским, я с восторгом очарованно наблюдал весь поэтический спектр Европы. Интересно, что в то беспокойное время, когда шла война и возникали мятежи, горячие головы о русской революции зимы 1905 года, странным образом, не говорили. Восстания возникали то тут, то там. В Москве люди вышли на баррикады. Говорили, что Белый тоже участвовал в уличных боях. Блок сам рассказывал мне, что он присоединился к отряду восставших рабочих. Городецкий был в Петербурге, пожалуй, единственным, кто открыто присоединился к революции. То же говорили о Чулкове, которого, в общем-то, никто всерьёз не принимал. Какое впечатление всё это на меня произвело, я сказать не могу. Мой революционный пыл несколько поостыл. Объединить воедино интернационал и венок сонетов, посвящённый святой Марии, было довольно сложно. Друзья мои в смущении избегали говорить о политике. Замечу, что у русских в крови бунтарский дух – идти наперекор. Мы говорили много о символизме, о Ницше, который оказывал большое влияние на русскую общественность, много об антропософии Рудольфа Штейнера. Но больше всего, об Антихристе, который интересовал нас, кажется, больше, чем Христос. Мы долго говорили, причём вполне серьёзно, о стихотворных формах, о месте и современности аллитераций. Ритмические паузы занимали нас больше, чем социальные вопросы. Ибсен был среди первых драматургов,

когда речь заходила о театре. Нас интересовали французы: Верхарн, Рене Гиль, Франсуа Вьеле-Гриффен, Стюарт Мериль, а также Верлен, Малларме и Рембо. Макс Волошин в элегантном сюртуке и цилиндре, прикрывавшем длинные, тёмные, вьющиеся волосы, увлекался тонкостями французской поэзии. Он боготворил Анри де Ренье. Самые неправдоподобные колокольчики, выдаваемые за настоящие, гремели со всех горных пастбищ Европы, и мы считали себя очень умными, и страшно важничали при этом. В частности, я, который хвастал знанием Стефана Георге, считал себя чуть ли не его юным апологетом.

В это время я имел возможность познакомиться с человеком, сыгравшим большую роль не только в моей жизни. Мне рассказали о Сергее Маковском, поэте и искусствоведе, сыне знаменитого художника Константина Маковского. Я был знаком с ним только заочно. Теперь же я познакомился с ним лично. Относительно молодой человек, стройный, элегантный блондин с голубыми глазами, типичный петербуржец. Холодноватый, сдержанный и слегка проницательный. Он жил в красиво обставленной холостяцкой квартире, не имевшей ничего общего с богемой. Очень скоро мы оказались в плену безбрежной русской дискуссии. Несмотря на светский лоск, в Маковском проглядывала истинно русская душа. Беседа наша носила деликатный характер. Он, оказалось, был большим поклонником Ницше и, в конце концов, мы неизбежно пришли к извечному спору между Дионисом и Аполлоном. Он, – двадцатидевятилетний, был на стороне Диониса, т.е. за цветущий хаос, за танцующие звёзды, за утончённое искусство. Я, – двадцатилетний, защищал Аполлона: мне imponировали его умеренность, уравновешенность и сдержанность во всём. Он – трезвый петербуржец, размахивал знаменем безудержного пьянства, а я, – увлечённый романтик, молился всему классическому. Удивлённый и восхищённый, я находился по одну сторону баррикады, состоявшей из субъективного и объективного, которое вело к абсолютной защите одухотворённой личности. Я услышал формулировки, о которых прежде понятия не имел, и защищал их с такой решительностью, что приверженец Диониса ненадолго задумался. Мы разошлись лишь через несколько часов, так и не решив наш спор. Но за эти часы мы стали друзьями и никогда не переставали ими быть. Когда мы через три с половиной года встретились вновь, он удивил меня своим расположением, которое не изменилось. Аполлон признал в нём своего сына и ещё долгие годы благословлял его. То, что я мог в те годы участвовать в такой дискуссии, явилось, без сомнения, следствием моих посещений Среда Иванова. Хотя многие философские темы были мне непонятны и трудны, они заставили систематически и, прежде всего, логически

мыслить. Недели, проведенные мною в Петербурге, на удивление, бесконечно многому научили меня на всю жизнь. Можно себе представить, как много почерпнули молодые русские литераторы и философы из этих сред. Не удивительно, что их репутация до сих пор не померкла и исподволь оказывает влияние на следующие поколения. Естественно, что я встречался и с поэтами, писателями, философами, журналистами, театральными деятелями и художниками, которые не относили себя ни к последователям Блока, ни Иванова. К ним мы ещё вернёмся. Каких-либо отношений с социалистами, собравшимися под крылом Горького, старавшегося с учётом политической обстановки и из чувства страха быть незаметным, я не имел.

Велико было моё желание познакомиться с духовной жизнью Москвы. Так как денег на такую поездку у меня не было, кто-то сделал мне предложение издать сборник стихов современных русских поэтов в моём переводе на немецкий язык. Под этот договор я получил небольшой аванс, позволивший выехать в Москву. Как вы понимаете, книга та не увидела свет. В гостинице «Метрополь», неподалёку от Большого театра, располагалось издательство «Скорпион». Брюсов принимал посетителей после двенадцати часов дня. Внешность его поразила меня. Высокий, худощавый, в чёрном, наглухо застёгнутом сюртуке, он производил впечатление серьёзного и знающего себе цену человека. Его тонкий голос не соответствовал закрытому, слегка отстранённому взгляду. Внешность Брюсова дополняли татарские черты лица и маленькая тёмная борода. Для меня он оказался во всех отношениях полной противоположностью жизнерадостным, подвижным и открытым петербуржцам. Он принял меня подчеркнуто вежливо, не забыв при этом изобразить передо мной перетруженного работой редактора. Снисходительно улыбнувшись, он попросил рассказать о петербургских новостях, соблюдая при этом дистанцию, и давая очень сдержанные оценки по ходу моего рассказа. Восторгался Ивановым, «но к сожалению...», хвалил также Соллогуба, «однако...». Единственная, кого он безоговорочно принял, была Зинаида Гиппиус. Изобразил удивление, когда узнал, что мне знакомы все псевдонимы, о которых она высказалась в довольно ядовитой форме на страницах журнала Брюсова. Я умолчал об известных мне источниках. Секрет псевдонимов мне раскрыли Блок и, прежде всего, госпожа Ремизова.

Редакция и издательство занимали две комнаты, одну большую, другую маленькую, соседствовавшую с каким-то подсобным помещением. Мы были одни, и Брюсов, несколько помедлив, начал читать мне свои стихи. Они производили довольно сильное впечатление, хотя и были прочитаны холодно, методично и невыразительно. Мои пере-

воды он выслушал внимательно, сделав по ходу несколько толковых замечаний. Он оказался большим поклонником творчества Георге и хотел знать о нём как можно больше. Брюсов разделял любовь Георге к шестнадцатистрочным стихотворениям (четыре строфы по четыре строчки). Кроме этого, он восторгался типографским оформлением его книг. В его книге «Urbī et orbī» было изначально одно трёхстрочное стихотворение, которое Брюсов продлил, добавив к нему ещё одну строфу, причём сделал он это только из типографских соображений. Он высоко ценил оформление книг, издаваемых Георгом Бонди. Брюсов знал уйму языков. Многие вещи он знал наизусть: «Фауста» часть первую и вторую, «Энеиду», «Божественную комедию», всего Верлена, половину Верхарна. Он был столь же широко образован, как Иванов, с той лишь разницей, что у Брюсова не чувствовалась лёгкость в его образованности. Я охарактеризовал бы эту образованность лихорадочной и вызывающей. Тем не менее, я был сражён и чувствовал себя в его присутствии начинающим стрелком. Конечно, Брюсов был феноменом. Он мог безукоризненно выстроить стихотворение в терцинах на любую заданную ему тему. Прочитав незнакомое ему стихотворение дважды, он читал его наизусть. С ним было несложно: он не играл роль волшебника, он был им.

Совладельцем издательства был Сергей Поляков – богатый москвич, дававший деньги на содержание издательства и журнала. Это был привлекательный скромный человек, с которым мы быстро нашли общий язык. Я познакомился с ещё одним штатным сотрудником издательства, поэтом Юргисом Балтрушайтисом, литовцем по происхождению, но писавшим по-русски. Он переводил Герхарда Гауптмана и сочинял красивые меланхолические стихи. Некоторые из них, мне кажется, не должны быть забыты. Этот вежливый, скромный и симпатичный человек долгое время жил в нужде, пока литовцы после октябрьского переворота не делегировали его своим полномочным представителем в Россию. Пребывая в этой должности, Балтрушайтис в те голодные годы помог очень многим поэтам выжить. Он посвятил мне одно из своих стихотворений. Все дни я проводил в редакции у Брюсова, но близости между нами так и не возникло. Мне кажется, он относился к тем людям, с которыми лучше общаться письменно. В своих письмах он никак не выглядел эдаким таинственным волшебником, а самым обыкновенным, реально мыслящим человеком. Его убежденность в том, что он является первым поэтом символистов, вызывает сегодня удивление. Он, безусловно, останется в русской поэзии в качестве епископа формально-преувеличенной «классики» символизма, наделавшей, как никогда прежде, столько шума в Европе. Будем

надаться, что это никогда не повторится. Мистика, секс, диалектика, эксперименты с формами стихосложения и звучный, в определённой степени элегантный пафос, связываются у него в холодную, продуманную работу подёшника-стихотворца, которая каждого может ввести в заблуждение и разочаровать. В результате изнурительного труда Брюсову удалось при довольно скромных способностях добиться почти гениальных результатов. Это может быть примером продуманного, выдающегося артистизма. Я забрал с собой в Германию стихи и прозу Брюсова, и, таким образом, открыл ему путь к европейскому читателю. Однако, когда мы через семь лет после нашего первого знакомства в Москве вновь встретились, уже при совсем других обстоятельствах, то оказались совершенно чужими. В ком из нас лежала причина отчуждения? Скорее всего, в Москве.

Москва мне не понравилась. Огромный город, тогда ещё меньше Петербурга, являл собой беспорядочное, огромное село. Было несколько роскошных улиц, по понятиям европейца далеко не бульваров и не авеню. Боковые улицы и переулки удивляли своим безобразным видом и бедностью. Куда ни посмотри, везде невыносимая грязь. Рядом с вилами и дворцами соседствовала нищета. Огромный Кремль со своими сокровищами, безусловно, обращал на себя внимание, но и он производил впечатление экзотической достопримечательности, но не более того. И речь москвичей оказалась для меня чужой. Богатый и мелодичный русский язык заглушается постоянным аканьем. Причём, не жизнерадостным и не тупым аканьем, а чванливо-холодным. Москва была и осталась для меня несимпатичным городом. Нелюбовь, страшным образом, оказалась взаимной: я не понравился никому из представленных мне москвичей. Я мог бы по этому поводу привести множество примеров, вплоть до сегодняшних дней. Но мне это стало ясно позднее. Я знаю, что Москва сыграла значительно большую роль в духовной жизни России, чем древний Киев или поздний Петербург. Чтобы понять Москву, надо глубже проникнуть в скрытые по сей день источники. Не напрасно дрожат многие русские, услышав священное слово – Москва. Иконописную, строгую красоту старой России понять нелегко. Я знаю, что несправедлив к Москве и в этом много субъективного: так же как человек не может перепрыгнуть через собственную тень, так и я всю свою жизнь предпочитал нереальность Санкт-Петербурга маскообразной Москве. Моя Россия – это Петербург.

В Москве я познакомился с поэтом Андреем Белым. Так же, как и Блок, он происходил из профессорской семьи. Андрей Белый – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева. В день своего первого посещения Брюсова я пошёл в гости к Белому, жившему на Арбате. Это был

высокий, худощавый человек с редкими, белокурыми, торчащими в стороны волосами, с высоким лбом и непостижимо светлыми, беспокойными, несколько неправильно посаженными глазами. Портрет этот дополнялся танцующей, подпрыгивающей походкой и размашистыми жестами. Срывающийся голос его внезапно переходил на фальцет. Не скрою, что внешность поэта поразила меня. Аффектированная манера речи действовала, как не вполне реальная. Не заигравшийся персонаж, а, скорее, сознательно игравший, чтобы произвести на других впечатление. Да к тому же он был ещё и тщеславен, как ребёнок. Он играл роль Андрея Белого. Знал ли он об этом? Думаю, что знал. Знал подсознательно. Следить за его мыслями было сложно; речь его отличалась скачкой мыслей. И всё же, слушать его было всегда интересно. Он был наделён ярко выраженным ассоциативным мышлением, которое я не наблюдал у кого-либо ни до, ни после. В те годы он начал читать свои новые стихи на мотив народных мелодий. Некоторые стихи, по социальной направленности напоминавшие Некрасова, были близки к цыганским песням. Его прежние стихи, например, «Золото в лазури», были выстроены совсем по-другому: частично – с элементами символизма, обильно уснащённые аллегориями Рихарда Вагнера, частично – превращённые в шутивно-напыщенный мир рококо и, в незначительном количестве, преобразованные в волшебную меланхолическую музыку. Да, он поразил меня пением своих стихов. Друзья читали его стихи, как принято, особенно Сергей Соловьёв – племянник философа, находившегося в родстве с Блоком. В тот же вечер, когда мы познакомились, он повёл меня в общество молодых поэтов. Там-то я и встретился с молодыми москвичами. Вечер мне очень понравился, вполне в моём вкусе. Прежде всего обсуждались вопросы просодии. Говорили об одах. Я рассказал о немецких одах: о Фоссе, Штёльберге и Гёлти. Мои слушатели были в курсе дела, и это импонировало мне. Они были знакомы не только с одами и размерами стихосложения, но и со сложнейшими греческими строфами. О леемах я ещё тогда понятия не имел, а для них это был уже пройденный этап. Очень подробно расспрашивали о Георге. Мой венок сонетов восхитил их. Я сделал небольшое сообщение о сонете. Мои переводы стихов Белого были скрупулёзно проанализированы и одобрены. К Петербургу и к его поэтам отношение было критическим. Не нравились им «новый» Блок с его «Балаганчиком». Возникла небольшая перебранка между мной и аудиторией. Положение моё ухудшилось, когда я прочёл сонеты, посвящённые жене Блока. На меня тут же «наехал» Белый, которому показались мои стихи слишком приземлёнными. «Я возмущён, – сказал он, – как можно обращаться к святой с такими

стихами?» Мой довод, что стихи эти нравятся жене Блока, не помог. Набравшись смелости, я сказал, что Люба Блок после этого стала называть меня «господин рыцарь». Это вывело Белого из себя. Что это было, – ревность? Похоже, что в его присутствии никто не смел читать стихи, посвящённые Любе. Затем он смягчился. Зазвучала музыка, а молодые люди начали состязаться в чтении афоризмов. В заключение подали приличный ужин, оказавшийся для меня сюрпризом.

После этого Белый проводил меня в гостиницу. Гуляли мы с ним почти до рассвета. Незабываемы фантазии о бронтозаврах, преследуемых кровожадными, шустрыми динозаврами, которые когда-то паслись там, где сейчас Москва стоит. Белый производил иногда жуткое впечатление своей демонической подпрыгивающей походкой. Путешествия к звёздам, нашингованные непостижимыми математическими формулами, путешествие внутрь слова с вариациями поэта. На следующее утро курьер принёс красивое, несколько фантастичное стихотворение Белого, посвящённое мне, которое в несколько исправленном виде появилось позднее в стихотворном сборнике «Нелес». Через несколько дней я уехал в Петербург. Совершенно случайно мы с Белым оказались в одном вагоне. Он зашёл ко мне в купе, и мы часами говорили обо всём на свете, в том числе о Блоках. Я понял, что он влюблён в Любу и ревнует Александра к ней. Мне была непонятна эта влюблённость. Москвичи сделали образ Любы Блок бестелесным, превратив её в святую. Они молились на неё, хотя «святая» выглядела вполне реальным существом. Такая форма идолопоклонства никогда не была мне понятна. Белый в тот вечер поразил меня своей доверчивостью. Откровенность – сугубо русская черта, возникающая иногда неожиданно. При этом появляется лёгкое опасение, что эти душевные излияния неизбежно должны перейти во враждебность. Такой исход часто имеет место. Белый рассказывал подробности своих отношений с Блоками, с ним и с нею. Временами он заходил слишком далеко. С другой стороны, было трогательно выслушивать его печальные признания, трогательно, когда он переходил на шёпот и клал свою руку на мое плечо. Он думал, что любит Любу, верил, что и она его любила, а сейчас только смеётся над ним. Он наклонился вперёд и пристально посмотрел на меня. Его мимика была при этом столь естественной, что ему нельзя было не верить. Всё ли было игрой в его поведении или нет, сказать трудно. Могли ли между Любой Блок и Белым возникнуть другие, более близкие отношения, как об этом позднее писали русские филологи? Утверждение профессора Владимира Орлова о том, что между ними существовали внебрачные отношения, я категорически отвергаю. Мне кажется, что позднее Белый глубоко сожалел о

том, что в порыве откровенности так много рассказал мне сугубо личного. В дальнейшем мы иногда встречались в Петербурге, но никогда не вели таких разговоров. Да и подружиться с Белым мне не удалось, несмотря на его упорство и верность антропософской абракадабре Рудольфа Штейнера. В Москве готовился к печати новый роскошный двуязычный (французско-русский) журнал «Золотое руно». Друзья Белого помогли мне встретиться с миллионером Рябушинским, финансировавшим журнал, чтобы обсудить с ним возможности издания ежемсячника ещё и на немецком языке. Рябушинский долго и снисходительно разглядывал меня, сказав, наконец, что не даст ни копейки сверх того, что он уже пожертвовал, и потому этого делать не стоит. Такова разница между ним и Поляковым, переводившим Шнишера, и содержавшим брюсовский «Скорпион». Мои петербургские друзья смеялись, когда я поведал им о своём грустном свидании с заносчивым миллионером, окружённым сонмом шустрых лакеев в серых livree, и гасящим окурки в цветочном горшке.

Брюсов свёл меня с одним немцем, который сотрудничал в его альманахе. Его звали Георг Бахманн. Он сочинял стихи и переводил русских поэтов на немецкий язык. Если я не ошибаюсь, он работал преподавателем в одной из московских гимназий. Он был уже немолод, но, как юноша, полон энтузиазма. Обладал шикарной библиотекой, подарил мне все выпуски «Острова» и угостил роскошным обедом, во время которого мы пили вино из бокалов венецианского стекла, расписанных золотом. Я видел его ещё только раз, осенью следующего года, после чего он умер. Он был блестящим образцом по-детски вечно восторженного немецкого мечтателя. Там же за обедом я познакомился с доктором Артуром Лютером, который реферировал произведения русских писателей в немецком журнале «Литературное эхо». Он тоже работал преподавателем в гимназии. В остальном это была полная противоположность Бахманну: желчный, надменный, типичный всезнайка, он, тем не менее, нравился мне; я думал, что нашёл в его лице доброжелательного покровителя. Третьим немцем, с которым меня свела судьба в Москве, был Герхард Ухама Кнооп. С ним я познакомился по собственной инициативе. Он оказался постоянным автором «Острова». Ведущий инженер одного из московских заводов, Кнооп писал свои чудесные романы в заводской лаборатории на промокательной бумаге. Он был отцом той самой Веры, которой Рильке посвятил свои «Сонеты к Орфею», написанные «как памятник».

Последние три недели этой столь важной для меня поездки я провёл в Петербурге у Алексея Ремизова и его жены Серафимы Павловны, пригласивших меня в гости. Писатель Алексей Михайлович Ремизов

был почти на десять лет старше меня и при этом большим чудачком, каких я прежде не встречал. Небольшого роста, худощавый, взъерошенный и довольно подвижный, он напоминал своими круглыми беспокойными глазками и маленьким выступающим подбородком ежа. Его поэзия, связанная с культовыми обрядами и таинственными ритуалами древней Руси, с её фольклором, в который он глубоко проник, была особенно привлекательна. Его проза, в которой реалистические наблюдения перемешаны с неправдоподобными фантазиями, и по сей день не находит себе равных аналогов в литературе. Он был нежным, чувствительным, бесконечно удивляющимся человеком, который рано порвал с политикой и ушёл в изысканный мир сказки. Его жена, Серафима Павловна, – представительная дама, почти ровесница ему, происходившая из старинного литовского княжеского рода Довгелло, была ему как мать. Она руководила довольно сложным домашним хозяйством и сама готовила. Ремизовы жили на первом этаже в небольшой четырёхкомнатной квартире. Постоянной домработницы у них не было. Мне кажется, что пока Ремизов не стал более или менее известным автором, этой семье приходилось довольно туго.

В доме царил странный порядок. Ремизов писал, жена занималась переводами. Вставали поздно, каждый день были гости, которые уходили далеко за полночь: Сомов, Блоки, философ Василий Розанов – сотрудник реакционного листка «Новое время». Богоискатель, запертый на вопросах пола, и консерватор, полный революционных инстинктов, был в те годы занят исследованиями древнего Египта. При своей только кажущейся чужаковатости он, к сожалению, остался для меня чужим, в то время как Ремизов, наоборот, очаровал меня. До сих пор со смехом вспоминаю, как приобщал Ремизова к поэзии Стефана Георге. Между двумя этими поэтами не было ничего общего, но Ремизов, поддавшись моим настойчивым уговорам, пытался выныкнуть в творчество Георге. Позднее, спустя несколько десятков лет, уже находясь за границей, он напишет забавную, но очень колючую, полную иронии, статью, в которой сообщит, что такого поэта вовсе не было, что его будто бы я придумал. По своему язвительному тону статья где-то напоминала «Облака» Аристофана.

В одну из пасхальных ночей я познакомился у Ремизовых с младшей сестрой Зинаиды Гиппиус, Татьяной – красивой юной художницей, которая незадолго до того закончила рисованный портрет Александра Блока. Репродукцию с этого портрета я поместил в монографию, посвящённую поэту. Она была живой, жизнерадостной и открытой девушкой, к тому же искренне верующей; она помогла мне разобраться во многих вопросах религии. Я приходил к ней несколько

раз в большую квартиру Мережковских, которые тогда проживали в Париже, и где она жила вместе со своей младшей сестрой Натой. Тата и Ната – уменьшительные имена от Татьяны и Натальи. То была прелестная девичья пара, очаровательные создания Петербурга.

В этой сложной русской атмосфере, с которой я имел возможность бегло познакомиться за весьма краткий отрезок времени, встречались порой оттенки и нюансы, не позволившие мне сразу сложить верное представление о русских. Ведь я встречался с людьми мира искусства, в некотором отношении с людьми ненормальными, одержимыми. Вопрос в том, являются ли эти черты типичными для этой группы людей и можно ли эти качества переносить на представителей всей нации? Верлен был французом, но и Виктор Гюго был им. Клейст был пруссаком, но и Гаманн был им. Такая же разительная противоположность, как Брюсов и Ремизов. Та же очевидная разница между Татьяной Гиппиус и её знаменитой сестрой Зинаидой, женой Дмитрия Мережковского, как мне кажется, одной из сложнейших женщин своего времени – злой, при этом очаровательной и по-настоящему большой поэтессой. С русскими женщинами ещё, кое-как, я находил общий язык, в то время как русские мужчины всегда оставались для меня загадкой. Многострадалая история своей страны наложила на русских иной отпечаток, чем на европейцев. Допускаю, что из глубин русской души могло бы развиться нечто такое, что могло бы противостоять духовному распаду Европы сегодняшнего дня. Предпосылки для этого имеются. В мыслях протягиваешь нить между помешанным на религии Достоевским и кристально чистым Пушкиным.

Одной из самых сложных фигур среди встретившихся мне людей был, безусловно, огромный поэт и прозаик Фёдор Соллогуб. Я познакомился с ним уже на третий день своего пребывания в Петербурге. До этого мы состояли в длительной переписке. Будучи в Мюнхене, я начал переводить на немецкий язык одну из его больших новелл. Признаться, он меня немного разочаровал. Среднего роста, коренастый с бородой мужчины с ничего не выражающим лицом, с огромной бородавкой на носу, сильно портившей его внешний вид. Ему было далеко за 40, но выглядел гораздо старше. Он состоял в должности инспектора одной из петербургских мужских гимназий. Сравнить его можно было скорее с закоспевшим чиновником, но уж никак не с поэтом, тем более с создателем редкой соблазнительной любовной поэзии, обращённой к смерти. Он был, между прочим, единственным из «моих» поэтов, стихи которого были на тот момент переведены на немецкий язык. Принял он меня по-дружески, но довольно равнодушно. Мои собственные стихи и переводы других поэтов на немецкий язык его

не интересовали. Наша первая встреча прошла довольно скучно. После этого я навестил его ещё раз, но пробыл у него не долго. Я пришёл, чтобы забрать свой личный альбом. Я рассчитывал, что он оставит в нём одно из своих стихотворений. Но этого не случилось. Вместо этого он написал мне пару ни к чему не обязывающих строк, подписавшись инициалами. Это меня порядком рассердило, т.к. я был уже другими избалован и стал довольно претенциозным молодым человеком.

Татьяна Пиппиус и её сестра Наталья уговорили меня пойти на вечер поэзии, организованный Соллогубом. Собралось пол-Петербурга. Гости сидели в уютной, плохо отапливаемой большой комнате на стульях вдоль стены; хозяин занял место за столом со скромным светильником. Таким образом, между выступавшим и слушателями образовалась дистанция. Тата, Ната и я успели захватить маленький диван. Мы уселись на него, согнув ноги, пребывая в прекрасном настроении. Соллогуб читал абсолютно бесстрастно и монотонно свои великолепные стихи. Вдруг он остановился и уставился недовольно на пол, по которому вышагивал огромный рыжий таракан. Это русские кухонные прусаки, достигающие размеров с полмизинца. При ходьбе они издают металлические звуки и шевелят усами, собранными бородкой. Выглядят они при этом несколько вызывающе. Стало тихо. Провожаемый недружелюбным взглядом поэта, таракан шумно прошёлся через всю комнату и направился к двери. В это время Ната хихикнула. Соллогуб посмотрел в её сторону неодобрительно и захлопнул книгу. Вначале засмеялась наша тройка, а затем расхохотались все присутствующие. Поэт поднялся и покинул комнату. После этого вошла кухарка с венником. В этот вечер стихов больше не читали. В случае с тараканом Соллогуб усматривал дурное предзнаменование. Ничто не могло заставить его продолжить чтение, и мы пошли пить чай. Это не помешало ему предложить мне позднее авторизовать перевод его сказок и романа. Я отдал роман своему приятелю, пообещав помочь ему. Это было сделано с позволения Соллогуба, но он мне этого никогда не простил. Я глубоко сожалел об этом. Внешность Соллогуба была обманчива и, вообще, он был иным, чем казался. Он был одним из самых значительных поэтов своего времени.

Ещё одно знакомство с поэтом, точнее с поэтессой, оказалось для меня в чём-то пророческим. Сестра философа Владимира Соловьёва, Поликсена, сочиняла недурные стихи в классическом стиле и подписывала их псевдонимом Allegro. Некоторые её строки мне очень нравились, и я перевёл их на немецкий язык. Она издавала журнал для детей, в котором публиковались все знаменитые писатели. Она

была моложе своего знаменитого брата на девять лет и выглядела несколько мужиковато. Однажды я провёл у неё целый день. С большой любовью она говорила о своём брате, с которым я к тому времени был ещё мало знаком. Она радовалась, что я перевёл любимое стихотворение брата, и позволила мне прочесть не только переводы, но и мои собственные стихи. В заключение она выразилась таким образом, что я, собственно, русский поэт, только пишу на немецком языке. Я гордился этой оценкой и пытался в этом убедить своих друзей. Тщетно. Когда я рассказал об этом Вячеславу Великолепному, он усмехнулся; при этом у него с носа сорвалось пенсне: «Слава Богу, что вы немец, русских у нас достаточно».

Конечно, я встречался и с другими поэтами того времени, например, с меланхоличным Курзинским, ориентированным на поэзию Байрона, с русским Пьер Луисом – Кондратьевым (коим он никогда не был, но ему льстило, что его так окрестили, т.к. он использовал в своём творчестве эллинистские мотивы). Имена их сегодня забыты. К сожалению, я не успел в этот раз лично познакомиться с четой Мережковских, хотя мы и состояли в активной переписке, а также с Константином Бальмонтом – создателем многих любовных песен, жившим тогда в Париже. К тому времени (шестьдесят лет тому назад) я успел перевести более ста его стихотворений, и мы могли бы по этому случаю закатить званый обед. Год тому назад я решил проверить, что осталось от моего юношеского увлечения, и ужаснулся: переводы эти покрылись толстым слоем пыли; сохранилось лишь 20 процентов моей работы. Среди них почти ни одного любовного стихотворения. Вот как меняются времена. Впрочем, к любви это не имеет никакого отношения. Многие любовные стихи, написанные Пушкиным, Лермонтовым и Фетом, позднее Ахматовой, я читал постоянно. И знал, почему.

В мае 1906 года, когда петербургские острова стояли в цвету, я собрался домой. После сердечного прощания с Ремизовыми, я нанял извозчика и с чемоданом полным книг, подаренных мне друзьями-поэтами, поехал на Балтийский вокзал. По дороге хватился, что забыл свой паспорт в гостинице. Пришлось возвратиться. В России тогда каждый человек должен был иметь паспорт. Его следовало отдать швейцару или консьержке, которые предъявляли его полиции. Мой паспорт находился у портя дома, в котором жили Ремизовы. Было ли это предзнаменованием, что я забыл свой паспорт? Возможно. На свой поезд я не опоздал. Приехав мальчишкой в Петербург, я за восемь недель прошёл все университеты и повзрослел. Я был вынужден исправлять свой кошмарный русский язык, и потому говорил с окру-

жающими только по-русски. Лишь в самом начале некоторые из моих друзей говорили со мной на немецком, который тогда из моего окружения знал почти каждый. Спустя восемь недель со мной говорили только по-русски. Я открыл для себя новый мир поэзии. Отличался ли он, скажем, от мюнхенского? Безусловно. Он был сложнее и глубже и в то же время проще и легче, как облака, плывущие по небу. Особенности русской поэзии приходят из глубин русской души, весёлый же нрав её лёгок, как перышко и ничем не обременён. Не отсюда ли появление такой Любови Блок, на что я сразу обратил внимание. Она относилась ко мне по-матерински и в то же время не переставала быть женщиной, женщиной в лучшем смысле этого слова. И такой же милостивой и естественной, как незабываемая Танечка Гиннхус. И если русские считают, что в революцию всё было сделано правильно, то почему они об этом ничего больше не хотели знать.^{***} Только лишь потому, что революция потерпела поражение? В этом я разобраться не мог. Но стихи! Раньше я писал стихи, теперь я жил ими. Стихи состоят не только из красивых слов. Слово входит в ткань стиха как нечто само собой разумеющееся, оно должно быть настолько сильным и совершенно необходимым, чтобы воздействие его можно было измерить градусником. Всё, что я раньше писал, казалось мне брэнчанием шарманки. Теперь уши мои стали слышать по-новому. Изменился и мой кругозор. Я не имею в виду новую русскую культуру. Конечно, она была для меня явнее, но я сумел разглядеть за ней дыхание русской души, от которой воспламеняется дух любви. Вовсе не Аполлоном, скорее опьянённый новой сутью и напоенный живым знанием, сжал я сквозь весеннюю ночь домой. Ездил ли я в Германию только для того, чтобы открыть для себя Роению? И что я, собственно, там нашёл? То, что я там нечто открыл для себя, бесспорно. Ночь была влажной и тёплой. Запах первой сирени проникал в вагон.

*Гюнтер ошибается: Речь идёт не о Е. П. Семёнове (1861-1914), а об однокурснике Блока А. Д. Семёнове. (1880-1917).

** N. S. von Arseniew, Die geistigen Schicksale des russischen Volkes, Graz 1966

*** Имеется в виду революция 1905 года

Леонид Бердичевский

С французского

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ (1864 – 1936)

ДОЖДЬ В САДУ

Оконико настежь. Дождь лукаво
заигрывать с природой рад.
Спешит он напоить наславу
угрюмый, задремавший сад.

Смыть пыль и состоянье грусти
под ветра быстрые рывки.
Затронуть дерево и кустик,
разгладить веток позвонки.

Цвет трав от влаги станет ярче,
песок застывший чуть резвей.
И будет веселей и жарче
цветам на клумбах у аллей.

И каждый лист, и каждый стебель
ворвётся в жизни торжество.
Сдружить дождь хочет землю с небом,
вот в чём всегда мечта его...

С восторгом этому внимаю,
скажу вам откровенно всё ж:
без всякого сомненья знаю,
что душу излечил мне дождь.

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР (1880 – 1918)

В ТУМАНЕ

Раздвигая тумана рядно, сквозь проезжую хлябь
тащит ноги крестьянин, вола подгоняя тростиной.
Силуэтом деревни вокруг, погружённые в рябь,
а крестьянин хрипит свою песню дорогою длинной.

Эта песня о чём? О любви, что когда-то была,
но свалилась на голову, чёрною тучей, измена...
Осень в сердце его подколотной змеею вползла,
и туманом в душе растекается серая пена.

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ (1884 – 1960)

КОНИ ВРЕМЕНИ

Стоят у дверей моих Времени Кони,
кровь мою пьют, задыхаясь в агонии, –
жажду свою уголяют. С опаской,
взгляд их подёрнут таинственной маской,
морды становятся грустными лицами.
Ночь над моими колдует ресницами,
я утомлён, ко всему безразличен,
но не желаю стать лёгкой добычей,
времени. Если появятся Кони,
их прогоню. Жизнь пойдёт увлечённой.

ЖАК КЕЙРОЛЬ (1910 – 1983)

КАК РАЗЫСКАТЬ?..

Как разыскать тропу среди травы,
росинку винную на дне бокала,
как юность разыскать, что ускокала,
и имя, мной забытое, увы,

огонь любви, погашенной давно,
дом за городом, что покинут мною,
и мир, с которым связан был судьбою,
и мёртвых ангелов найти мне мудрено,

свободы разыскать поблекший след,
и вздох, что вызван был глубокой страстью,
и слёз поток, – над ним я не был властен,
и прах тех дней, что в бездне прошлых лет?

Как разыскать пленительный рассвет?..

С немецкого

ХРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН (1871 – 1914)

ИСПОВЕДЬ ЧЕРВЯКА

В раковине, очень мило,
жил редкой породы червяк.
Мне сердце своё открыл он,
доверительно, просто так.

Летел он судьбе навстречу,
будто кто-то его запряг.
Я не шучу, – день и вечер,
а это, отнюдь не пустяк.

В раковине, случилось,
жил редкой породы червяк.

Мне сердце своё открыл он,
нараспашку, – вот так чудак!

ДВЕ БУТЫЛКИ

Стоят на столе бутылки,
глядят друг на дружку пылко.
Толстенная и худая, –
молчат и тяжело вздыхают.

Из глаз у них грусть струится
на небосвод и на лица.
Никто не спешит им помочь, –
их просвятать, ведь скоро ночь.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУДЕЛЬ

Пудель с шерстью цвета саж
огорчился, тявкнул даже,
от игры хозяйки на рояле.
После заскулил, бедняга,
как обычная дворняга:
«Ах, зачем меня так наказали!»
С петухами, утром дымным,
пробудился, весь седым он
и с глазами, полными печали.

РИХАРД ДЕМЕЛЬ (1863 – 1920)

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Чистый ветер не дышит. На дальних полях
Пар от озера. Жалобно стонет тростник.
Солнца след заблудился в густых камышах.
Розовое линиялого облака блик.

Сумрак лёг паутиной густой на леса.
Долетает с лугов колокольчика звук.
Разогретую землю смягчает роса.
Свистом сытое стадо сзывает пастух.

Рожь спокойна, не вздрогнет она стебельком.
Тишина, как подарок, — ни звука вокруг.
Лишь сверчки исполняют вечерний псалом,
да из сердца исходит взволнованный стук.

Сидиша

ИЦИК ФЕФЕР (1900 – 1952)

(из поэмы «Тени варшавского гетто»)

* * *

Совсем не как нищие мечутся тени,
руками простёртыми ловят мгновенья.
Молитвенным шёпотом плавают строки
о том, что ещё не погибли пророки.
Себя выставляют, как гордое племя,
навстречу судьбе, невзирая на время.
И втайне мечтают о встрече с грозой,
чтоб с нею не знать ни минуты покоя.
Вперёд устремляясь
сквозь зной и сквозь стужу,
и верой себя защитить, как оружием.

Нора Гайдукова

С немецкого

НЕПОМУК УЛЬМАН

ГОРОД БЕЗ ЛЮБВИ

Уж сколько лет
Не знаю я любви.
От одиночества
И кожа заскорузла.

Застыли чувства
В дальних помещениях.

За облаками
Ты показываешь мне,
Как можно продавать
Безудержное время.

То, что имеешь ты,
Прекрасных линий тело
Стоит всё также
У меня в глазах.

ДО И ПОСЛЕ новые переводы

Печально слёзы лью,
Как над погибшей астрой.

ТЫСЯЧА МАЛЕНЬКИХ МОСТОВ

Тысяча маленьких мостов
Для любви.
Мы на острове
В открытом море.

Тише говори, любимая.
Почь подслушивает нас
Длинными антеннами.
Ведь если испугаем
Других, мы пропали.

В твоих глазах
Сияет свет.
Тень от ресниц
Обманывает время.

В восемь утра нам ясно,
Что это была любовь,
Которая не обманула.

Станислав Львович

С немецкого

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

ЕЖЕДНЕВНИК

I

Как часто слышим мы – уверовав в итоге:
Сердца людские абсолютно ненадёжны...
Как ни крутись, иди любой дорогой,
Христианин готов грешить безбожно...
Но лучшее даётся нам от Бога,
И с верой мы живём – насколько можно...
Однако искустель появляется тогда,
Царя над добродетелью – и без труда...

II

Как долго я с любимой разлучён,
И как обычно, по земным делам...
И что учил я и чему был научён,
Лишь ей одной, по-существу, обязан сам.
И небосвод, что звёздами почными освещён,
В моих воспоминаниях Любовью светит нам:
Перо чернильное поток бегущих дней
Медовым словом нежно сравнивает с ней.

ДО И ПОСЛЕ новых переводов

III

И вот спешу домой. Моя карета
Разбилась. Чуть ни на почь опоздала;
А я надеялся и думал где-то
Что доберусь до дома, завершу дела я...
Кузнец с каретником(тот явно был с приветом)
Где подкуют, ворча брезгливо и немало.
К любому ремеслу своих побасенок не занимать.
Теперь мне остаётся лишь – ворчать и прозябать...

IV

И вот стою я... С вывески звезда
В жильё зазвала... Сносное, как будто.
Девушка вышла, редкая, поверьте, красота,
И осветилось всё. Здесь будет мне уютно.
Прихожая... И лестница... Уют и простота.
И комнатка - радость без рассудка...
О, грешный человек, что в облаках всё веет!
Сей красота прийдёт, и ты опутан сю...

V

И вот уселся я за письма, за расчёты,
За обстоятельный дневник,
Пока все спят, моя обычная забота:
С друзьями верными беседовать привык...
О чём, не ведаю... Чернильные хлопоты-
Слова бегут – не как всегда – в делах пустых:
Вошла девушка с ужином обильным,
Расставила всё ласково и стилино...

VI

Вопросы и ответы – как положено всегда...
И с каждым словом – мне она дороже и милей,
Ах, как легко она разделала курчёнку - вот еда!
Мелькают ручки, плечи – ловко, всё ловчей,
И сумасшедшинка проснулась в нас тогда –
Конец...Запутался, пропал и спятил без затей,

Отброшен стул... Прыжок... Схватил в объятья
Дитя прелестное! Она лепечет: «Ах! Оставьте!»

VII

«Всё слышит тётка - ведьма старая и злая,
Что по хозяйству счёт минуточкам ведёт...
Что наверху творится, снизу зная,
И порка розгами за каждую промашку ждёт,
Бдит, дверь свою не затворяя,
И даже полночью на помощь всем придёт».
И быстро мои руки отклонив,
К своим делам сбежала, поспешив...

VIII

Но глазками стрельнула! Каждый взгляд
Небесное блаженство затаил.
И тихий вздох вернуться не успел назад,
Как груди страстью наполнил.
И вижу я – на ушках, горлышке, на шейке ряд
Любовных роз летучих расцветил...
Однако ж новых радостей не обрета,
Помедлив чуть, исчезло милое дитя.

IX

Вот полночь захватила улицу, весь дом,
Жильё как будто разрослось, и стало шире,
Но лишь частица малая меня заботит в нём,
Любовь одна всем управляет в мире;
Вот только не спеша задул я свеч, как потом
Услышал - нечто проскользнуло в дверь квартиры,
И алчно в стройную фигуру вглядываюсь я,
Она склоняется, и всю её обхватываю я.

X

Она ж свободно – «Дай же мне сказать:
Теперь тебе я вовсе не чужая стала.
Брак – то не для меня. Глупа была – чего скрывать,
Мужчинам я всегда не доверяла...

Столица чудится, где нет нужды манерничать;
Уменьем сердцем управлять теперь я овладела.
Ты – победил меня, не вздумай огорчаться,
Я вижу – я люблю; клянусь тебе быть счастьем.

XI

Меня невинною оставил... Тебя получше разузнав,
Я сделаю, так я решила: отдам тебе себя...»
Меня к своим медовым грудям крешенько прижав,
Как будто ей мила и грудь моя,
Я ж ротик, глазки, лобик – всё расцеловав,
Доселе не было чудесней места для меня:
Однако Мастер мой – игрой разгорячённый,
Как школьник – пятится и вял, и охлаждён он.

XII

Ей слово сладкое и поцелуй – уже сияет,
Как-будто это лишь душа её желала.
Как целомудренно в любви себя мне покоряет,
И зрелость сладких форм во мне всё отмечало!
Во всех движениях – веселье и экстаз мелькают,
И вдруг – спокойствие – как ничего и не бывало.
И я покоен был – её покорно созерцая,
Но Господину всё ж с надеждой доверяя.

XIII

Пока я долго жизнь свою перебирал,
Проклятий с тысячу в душе уж вскипятил,
Себя высмеивал, с издёвкой, обвинял,
Но и не лучше было бы, коль медлить я б решил,
Она спала – прекраснее, чем в яви ожидал;
Ночник уж потускнел, фитиль свой обнажил.
Дела дневные, юности заботы...
Она не рано в сон включилась и с охотой...

XIV

И так божественно пристроилась она,
Как-будто ложе ей должно принадлежать,
И адские стенапьями расписана стена,

Бессильных тех, кому могла она не запрещать.
Змеёй ужален, был он у бассейна,
Блуждающий, чтоб жажду утолять...
Она любовью дышит, ласково мечтанью уступив;
Не шевельнётся... Он умолк, дыханье затанв...

XV

Спокойнее... С ним ране не случилось такого,
Он говорит себе: всё надо разузнать,
Зачем невеста крестится у алтаря святого,
Сплетая гнёздышко, боясь, его оберегать.
Побудь-ка там, Любовь, у выхода любого,
Чем здесь позориться! Недолго вспоминать,
Когда владычица лишь в первый раз тебя узнала,
С тобой увиделась в роскошном зале.

XVI

Коль в муках сердце, и душа в мученье,
Но человечество в восторге суетливом.
И в быстром танце ты лукавишь с ней,
Едва рука груди её коснётся бережливо,
Как-будто сам себе выносишь запрещенье:
Скорее оба мы к сближению готовы:
Вниманье... Шутка... Вся моя духовность
Быстрее, чем Господина моего готовность...

XVII

И непрерывен рост симпатий и желаний,
Обручены, совсем в недавни лета,
Она – как драгоценность; что цветочек в мае...
А как выросли желанья в паре этой!
И вот зазвал её я в храм Христовый,
Чтоб встать пред алтарём и Божьим светом,
Перед крестом твоим, Христос окровавленный,
Прости меня, Господь, хранитель дол священных.

(продолжение в следующем номере)

Давид Яновский

С немецкого

ТЕОДОР ШТОРМ (1817 – 1880)

БЕРЕГ МОРЯ

Сумерки наступают,
Чайка летит к заливу;
После отлива в лужах
Мерцает закат лениво.

Мечется серая птица,
Пену срезая с волны;
Плывут острова в тумане
По морю, словно сны.

Я слышу невнятные звуки:
Вздохи бродящего ила,
Крик одинокой птицы, –
Так всегда это было.

Вздрагнул ещё раз ветер
И замолчал, затих;
Ясней голоса зазвучали
Над бездною вод морских.

* * *

Та, кого так любил он,
Пылая страсти огнём,
Его прогнала жестоко
И позабыла о нём.

Тогда взял он в дом подругу,
Нежную, как пион,
Которой на целом свете
Нужен был только он.

И хоть для неё не нашёл он
В сердце ни капли тепла,
Она лишь его любила
И лишь для него жила.

ПЕСНЯ ПОРТОВОЙ ДЕВУШКИ

Прелесть моя
Лишь сегодня цветёт.
Завтра, ах завтра,
Всё пропадёт.

Только на час,
Лишь сегодня ты мой.
Завтра, ах завтра,
Быть мне одной.

ЖАН ПОЛЬ (1763 – 1825)

Разве любит тот, кто судит?
Тот не любит, кто судил.
Кто любил, тот не забудет,
Кто забудет, - не любил.

ЮСТИНУС КЁРНЕР (1786 – 1862)

ЕЙ В СТАРОСТИ.

Перевод посвящается Лиле

Хоть я состарился, родная,
Но вопреки календарю,
Как в юности, с любовью нежной,
Я на лицо твоё смотрю.

Да нет, ещё нежней. Я вижу
Не только дней весны черты, –
Все наши радости и муки,
Вся жизнь моя, – всё это ты.

И как сняет после бури
Звезда, спокойна и светла,
Так взор твой и сегодня ясен,
Хоть часто слёзы ты лила.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Хоть жарко костёр пылает,
Слабее пламя его,
Чем та любовь, о которой
Не знает никто ничего.

Ни роз, ни гвоздик цветущих
Так не прекрасен наряд,
Как прелесть двух душ влюблённых,
Которые рядом стоят.

Вставь же мне зеркало в сердце,
Внемля моей мольбе,
Чтобы могла ты увидеть,
Как я верен тебе.

ВИЛЬГЕЛЬМ МЮЛЛЕР (1794 – 1827)

РОЗОВЫЙ БУТОН РОСИНКИ

Когда я на бутоне розы вижу
Росинку, то на ум приходит мне
Любви моей печальная картина.

Ты - тот холодный розовый бутон.
Застыл он, и для солнечных лучей
Безжалостно своё закрыл он сердце.

А я, конечно, капелька росы.
Она от жара солнца исчезает ,
Ведь для неё твоё закрыто сердце.

АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО (1781 – 1838)

* * *

Утром, когда на востоке
Ещё не мерцала заря,
Дрожала я у окошка
И его ожидала зря.

А в полдень я плакала горько,
Рыдала весь день напролёт,
И всё же надеялась в сердце:
А вдруг он ещё придёт.

Вот ночь, вот почь наступила,
Я боялась её и гнала,
Я день потеряла, который
Радостно так ждала.

ФРИДРИХ ХАЛЬМ (1806 – 1871)

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Ответь мне, сердце на вопрос:
Скажи мне, в чём любви дар? –
То две души, а мысль одна,
Два сердца и один удар.

А как приходит к нам любовь? –
Пришла - и здесь её жильё -
А как уходит? - Коль ушла,
Так значит не было её.

А в чём же чистота любви? –
В том, что забудешь о себе. –
Когда любовь всего сильнее? -
Когда нема в своей мольбе.

Когда богаче всех любовь? –
Когда ей есть, что подарить. –
Скажи, как говорит любовь? –
Любви не надо говорить.

ГОТФРИД БЮРГЕР (1747 – 1784)

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ

Кто с девушкой своей всегда,
Как счастлив парень тот!
В селе и в городе любом
Он счастливо живёт.

Какая б ни пришла беда,
Не станет он понур,
Всегда доволен Богом он,
А бог его - Амур.

И радостна его душа,
Печали нет следа.

Смеяться он всегда готов,
А плакать - никогда.

Идёт решительно вперёд
С весёлой шуткой он,
И песню звонкую поёт,
Подругой увлечён.

Здоровьем не обижен он,
Почёт ему везде,
Ну, словом, чувствует себя
Он рыбою в воде.

Он вкусно ест, спокойно спит,
Вкушая сладость дней,
И чувствует себя в раю
Он с Евою своей.

Кто с девушкой своей всегда,
Как счастлив парень тот!
Для подражания пример
Он всем нам подаёт.

На ветер эти все слова,
Ведь одинок мой путь.
Вернись, о Лилла, поскорей
И вновь моею будь!



Памяти Яны Кутин

(19.08.1930 – 21.01.2011)

Ушла из жизни наша коллега, стоявшая у истоков создания Берлинского Клуба литературы и искусства при ZWST - Она была одним из постоянных активных авторов альманаха «До и после».

Непременный участник полемических дискуссий с острым критическим взглядом, Яна участвовала в подборе материалов для альманаха.

Яна была разнообразно одарённым человеком. Живя в Москве, защитила кандидатскую и докторскую диссертации на соискание звания доктора геолого-минералогических наук. Она была автором многих статей по геологии и физике. Приехав в Берлин, полностью посвятила свою жизнь литературной деятельности. Любила рисовать акварелью, карандашом и тушью.

Писала рассказы, публицистические и лингвистические статьи. Яна выпустила три сборника своих стихов с собственными иллюстрациями. Вместе с сыном Андреем Бройдо занималась составлением словаря тюремного и блатного жаргона.

И все-таки основным делом своей жизни в эмиграции она считала работу над книгой мемуаров своей матери О.Г. Шатуновской. Около двадцати лет работы увенчались успехом. Книга «Об ушедшем веке (рассказывает Ольга Шатуновская)» вышла в свет в 2001 году. Четыреста семьдесят страниц охватывают период с 1901 по 1990 годы.

Мать Яны была видным партийным и государственным деятелем Закавказья, одной из соратниц Бакинских комиссаров. В книге прослеживается путь советской власти от искренних, благих намерений до полного разложения власти. О.Г. Шатуновская пробыла

в ссылке много лет. Возвратясь в Москву, входила в состав правительственной комиссии по реабилитации политзаключённых. Её усилиями было возвращено из лагерей и ссылок много уцелевших людей.

Яна Кутин сумела ненавязчиво, деликатно обработать эти мемуары, грамотно отредактировать их, сохранив весь текст оригинала, прокомментировать и снабдить прекрасным именным указателем. Эта книга является ценным материалом не только для родных читателей, но и для историков. Свой долг Яна честно выполнила не только как дочь, но и сохранила ценнейший документ тяжёлой эпохи.

Мы будем помнить Яну Кутин – добросовестного, серьёзного и правдивого Человека, нашего товарища и друга.

Редкаллегия Альяманха

ОГЛАВЛЕНИЕ

Поэзия и проза

Людмила Белоусова	6
Леонид Бердичевский	16
Михаил Верник	27
Нора Гайдукова	36
Марлен Глинкин	39
Евгений Денисов	49
Эмилия Донская	52
Виктория Жукова	54
Елена Зельгер	60
Константин Кербель	65
Игорь Коган	72
Генриетта Ляховицкая	79
Валерий Матэтский	86
Веннамин Палагашвили	92
Анжелла Подольская	96
Ася Вайсберг-Процко	113
Сергей Пышный	116
Любовь Рейнгач	119
Людмила Тайц	125
Татьяна Устинская	127
Галина Фирсова	131
Марк Шейнбаум	134
Михаил Эненштейн	138
Елена Ямова	145
Давид Яновский	153

Публицистика. Мемуары. Эссе

Марина Авербух	160
Леонид Бердичевский	168
Виктория Жукова	177
Регина Лихтман	180
Станислав Львович	196

Генриетта Ляховицкая	202
Галина Фирсова	208
Марк Шейнбаум	211
<i>Новые переводы</i>	
Карл Абрагам	220
Леонид Бердичевский	244
Нора Гайдукова	249
Станислав Львович	251
Давид Яновский	256
<i>In Memoriam</i>	
Памяти Яны Кутны	262

י. קיפניץ



אפריל 1955
קיפניץ - י. קיפניץ

C.W.